Kristijonas Donelaitis

Кристионас Донелайтис

Metai

Времена года
Перевод с литовского Д. Бродского.

Pavasario linksmybės

Радости весны

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkdams,
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint.

На небо солнце всё выше вздымается, мир пробуждая,
Валит да рушит со смехом творенья зимы прихотливой.
Гибнуть стали труды упрямых стуж и метелей,
Пеной играя, снег исчезает, в ничто превращаясь.
Вот потеплевшие ветры ласкают голое поле,
Всякую травку и цветик зовут воскреснуть из мёртвых.
Бор и кустарник проснулись и ветви свои расправляют.
В поле бугры и лощины скидают снежные шубы.
Всё, что в осенней грязи захлебнулось, горестно плача,
Всё, что на дне озер и в болотцах зазимовало
Иль под корявым пнём скоротало лютую пору, —
Всё это нынче гурьбой потянулось приветствовать солнце.

Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės.
Varnos ir varnai su šarkoms irgi pelėdoms,
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė.
Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų
Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko
Ir ponus taip, kaip būrus, įgelt išsižiojo.
Bet ir mitins jau šeimyną savo pabudint
Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n'užsimiršo.
Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo
Ir lakstydami su birbynėms žaisti pradėjo;
O vorai kampuos sėdėdami verpalus audė
Irgi medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė.
Bet ir meškos, ir vilkai šokinėdami džiaugės
Ir suplėšyt ką tyloms į pagirį traukės.

Вылез хорёк на свет; из подполий выбрались крысы,
Стаи ворон и сорок, кроты и выводки мышьи,
Даже угрюмые совы тепло весеннее хвалят.
Тучи букашек и мух, комары и блохи роями
Снова явились на свет и уже нацелились жалом
И на убогих крестьян, и на бар, в довольстве живущих.
Спящую челядь свою разбудила пчелиная матка
И понуждает гуденьем за труд поскорей приниматься.
Роем неисчислимым на волю выползли пчёлы —
Вот над лужайками реют, в свирели свои заиграли.
А по углам пауки оживились — и потихоньку
Нити сучат, готовят силки для охот предстоящих.
Также медведь и волк разгулялись, весело скачут,
Вновь на опушках незримо добычу подстерегают.

Ale kokie dyvai – nei viens iš didelio pulko
Verkdams ar dūsaudams mus lankyt nesugrįžo;
Ne! ne verkt, bet linksmintis visi susirinko:
Nes darbai žiemos visur jau buvo sugaišę
Irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė.
Tuo po tam pašaliai visi kribždėti pagavo
Irgi, bešūkaujant pulkams, ošims pasikėlė.
Viens storai, o kits laibai dainuoti mokėdams
Ir linksmai lakstydams ik debesių kopinėjo;
O kits ant šakų kopinėdams garbino dievą.
Bet ir valgių dėl skūpų nei viens nesiskundė.
Rūbai šio ir to didei jau buvo nudilę;
O tūls lopytą parlėkdams parnešė kuodą
Ir pasisotint ant laukų vos mažumą rado.
O štai ir taipo parvargęs nieks nedejavo,
Bet visi visur sumišai šokinėdami džiaugės.

Но чудеса какие! Среди воротившихся полчищ
Вряд ли хотя б одного найдёшь угрюмого с виду.
Нет, не скорбеть, не грустить, – воротились они веселиться,
Ибо строптивой зимы созданья всюду пропали.
В рощах, полях и лугах полновластно весна воцарилась.
Вот уж по всем углам пернатые загомозились,
Гомоном разноголосым наполнив мир посветлевший.
Нежно пищали одни, а другие – горланили буйно.
Эти – с ликующей песней парили в небе высоком.
Те, по ветвям скача, вперебой творца прославляли.
Но из гостей никто не пенял на корм небогатый.
Выцвело платье у всех и за год совсем истрепалось;
Кто прилетел домой с хохолком в разноцветных заплатах.
Корму всего лишь горсть на полях собрали, однако ж
Духом не падал никто, на лишенья пенять и не думал, –
Всюду день-деньской беспечное шло ликованье.

Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas
Ir gaspadoriškai ant kraiko tarškino snapą.
Taip besidžiaugiant jam štai jau ir jo gaspadinė
Iš šaltos gaspados vėl išlindusi rados
Ir su savo snapu meilingą sveikino draugą.
Kraiką jie visur didei sudriskusį rado;
Ogi namus naujus, užpernai tikt budavotus,
Rado ant visų kampų permier pagadintus.
Sienas ir čytus ir daug naujintelių sparų
Vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę.
Durys su langais ir slenksčiais buvo nupuolę;
Ogi troba visa visur iškrypusi rodės;
Todėl tuo abu, kaip reik tikriems gaspadoriams,
Vislab vėl taisyt ir provyt sukosi greitai.
Vyrs tuojaus žagarų budavonei parnešė glėbį;
O gaspadinė jo pūstynes mandagiai lopė.
Taip po tam abu, daug dirbę bei trūsinėję,
Valgį sau sužvejot pas klaną nulėkė greitai
Ir, kelias varles bei rupuižes paragavę,
Dievui iš širdies visos vienai dėkavojo.
Tu žmogau niekings! mokinkis čia pasikakint
Ir pasisotindams gardžiaus n'užmiršk savo dievą.

Аист явился из странствий с гурьбой весёлых соседей
И, на высоком коньке примостясь, пощёлкивал клювом.
Тою порой, как от сердца восторг свой там изливал он,
Глядь, и хозяйка его из клети холодной явилась,
Издалека головой закивала другу приветно.
Крыши конёк осмотрев, непригодным нашли его оба.
Тот же домишко, который срубили весной позапрошлой,
Нынче друзьям показался почти совсем обветшалым.
Много стропил, досок и решетин также изрядно
С крыши прочь сорвав, унесли крылатые ветры.

Двери, стены, порог расшатались либо осели.
Вся почернела изба, одряхлела и покосилась.
Тут же оба они, как пристало хозяевам добрым,
Спешно свой дом чинить принялись, усердия полны.
Прутьев охапку большую привес рассудительный аист,
Рьяно хозяйка его конопатила дыры и щели.
Много они потрудясь и уйму дел переделав,
Рыбку ловить полетели к болоту дружной четою
И, проглотив живьём там несколько жаб и лягушек,
Благодарение богу от чистого сердца воздали.
Скромности этой примерной учитесь, жалкие люди, —
Сладкие снеди вкушая, о боге помните крепко!

Krūmus ir girias visokios ošino dainos;
O laukus visur bei pievas skambino garsai.
Gegužės ir strazdai sumišai lakstydami žaidė
Ir sutvertojį linksmai rykaudami gyrė.
Kregždės su lengvais sparnais aukštai pasikėlė
Irgi bešūtydamos nei kulkos šaudė per orus,
O paskui valgius prastus be priprovų valgė
Ir pasivalgiusios pliuškėjo pasaką savo.
Gervins ik debesių juodų dyvinai kopinėdams
Ir nei verkdams irgi dejuodams skambino dangų;
Bet tai ne verksmai, kad jis taip skambina šaukdams,
Ne! jis nor pamokint, kaip dievo didė galybė
Ir paukštelių balsuos yr didei stebuklinga.
Žvirbliai su vaikais žodžius girdėdami tokius:
„Rods, — tarė, — mūs giminė taip jau vis šlovina dievą.“

В чащах на сотни ладов отдавалось пение птичье,
Всюду — в полях и лугах — стоял трезвон неуёмный.
Стаи кукушек лесных летали вместе с дроздами,
Звучным хором творца прославляли с зари до заката,
Ласточки стаями в небо на крыльях лёгких взмывали,
Словно как пули стреляя, носились в воздухе ясном;
После, едою своей немудрёной вдосталь насытясь,
Рядышком чинно садились — о том да о сём покалякать.
В дальнюю высь к облакам величаво журавль подымался,
Будто стеная и плача, звенел, в поднебесье теряясь.
Только совсем не плач тот призывный звон журавлиный!
Нет, он являет пример, как великая сила господня
Чудо творит, вселясь и в птичье хрупкое горло.
Разверещался, услышав такое, род воробьиный:
— Что ж, ведь славим творца и мы как будто не хуже!

Bet lakštingala, dar ikšiol kytriai pasislėpus,
Laukė vis, iki kožnas bus savo dainą pabaigęs.
Todėl ji paskiaus kasmets vis pradeda šūkaut
Ir nakties čėse, kad sviets jau miegt įsigūžtęs,
Sau viena tamsoj budėdama garbina dievą,
O išaušus jau, kad mes iš patalo kopam,
Kartais budina mus ir mūsų linksmina širdis.
Ak šlovings dieve, kaip dyvins tavo sutaikyms!
Kad mes rudenyj ar žiemos čėse pasislėpę
Ir susirietę pas meilingą kakalį krankiam,
Tai ir tu, paukšteli miels, pas mus nesirodai,
Bet taip jau, kaip mes, tamsoj pasislėpusi lindai
Ir mažu savo glūpas muses sapnuodama gaudai.
O štai, kad mes vėl linksmi pavasarį švenčiam
Ir savo darbus ant laukų jau dirbt pasitaisom,
Tuo ir tu, savo skambantį nutvėrusi vamzdį,
Su visokiais balsais ir dainavimų garsais
Ragini mus pasidžiaugt ir mūsų lengvini darbus.

Но соловей в уголку, хитро скрываясь от взоров.
Всё дожидался, пока окончат песню другие, —
Много поздней потому он петь начинает весною.
Ночью, когда весь мир охвачен сном непробудным,
Бодрствует он и в тиши одиноко господа славит.

Также подчас на рассвете сельчан, погружённых в дремоту,
Щёкотом будит своим и веселье в сердца их вливает.
Господи боже! Какое согласье царит во вселенной!
Осенью или зимою, когда мы ютимся в жилище
И, на лежанках свернувшись, храпим у печек любезных,
Нет и в помине тебя, — ты далёко, милая пташка!
Где-нибудь так же сидишь ты, в углу укромном нахохлясь,
И в сновиденьях, быть может, всё глупых комариков ловишь.
Но, когда наступает весна и с бодростью в сердце
Мы собираемся вновь выходить в поля на работу,
К нам прилетаешь и ты со своей свирелью волшебной.
Разом на сотни ладов заводишь сладкую песню,
Радуя нас и труды повседневные нам облегчая.

Ale sakyk, gaidel! dėl ko tu vis pasislėpus
Ir, kad pradeda temt ar naktyj, paderi šūkaut?
Kodėl taip didei slapais su pasaka savo?
Juk sviets visas, ar būt būrs, ar pons įsirėmęs,
Ir vaikai be buksvų, ir krunėdami diedai, —
Kožnas ir kiekvienas tavo šauną garbina dainą,
Kad tu mums dyvus linksmų lakštingalų čiauški.
Tu vargonų bei cimbolų niekini garsą.
Smuikai tav ir kanklys tur su gėda nutilti,
Kad rykaudama tu savo saldų pakeli balsą
Ir kinkyt, paplakt, nuvažiuot išbudini Jurgį!

Но почему ты, дружок, на глаза показаться боишься,
В сумерках или в ночи зачинаешь свой клич неизменно?
Что в уголки потайные бежишь со сказкой своею?
Все — от господ до крестьян, от мальца-сопляка без штанишек
И до кряхтящего старца — твоей очарованы песней!
Всякий тебя восхваляет, когда, в урочную пору,
Нам ты сноровку свою являешь в песне чудесной.
Перед тобою ничто гармония наших органов!
Скрипкам и гуслям должно устыдиться, когда, разгулявшись,
Сладостный голос возвысив, выводишь звонко и четко;
«Сивку подхлёстывай, Юргис, бичом пощёлкивай бойко!»

Kad prieš vakarą tu pasislėpus pradedi juoktis,
O mes daug prisivargę jau į patalą virstam,
Tai tu tarp kitų paukštelių nei karalienė
Vis dailiaus ir šlovingiaus savo šūkteri šūtką.
O kad kartais kobotą mes tavo pamatom,
Tai tu mums nei žvirblis būriškas pasirodai.
Tu sermėgų poniškų, puikiai padarytų,
Ir žiuponiškų turbonų niekini rėdą;
Bet vis nei būrka prastai viešėdama čiauški.
Ak! ir tarp žmonių daugsyk taip jau nusiduoda,
Kad ant svieto šio mainų tikrai padabojam.

В час, когда на постель мы валимся, тяжко намаясь,
И в темноте начинает смелей твой смех рассыпаться,
Ты — меж пернатых других — королевским величьем блистаешь,
Всё прихотливей, искусней свои ты наводишь колена.
Если ж бывает, порою покажешься ты на мгновенье,
Вдруг предстаёт перед нами воробышек в серой сермяжке.
К барским нарядам роскошным, соловушка, ты равнодушен,
Золототканых тюрбанов краса тебя не пленяет,
Истый мужик, и в нужде поёшь ты, унынья не зная.
Ах, и между людьми не часто ль видим такое, —
Всякого дива немало встречается в мире подлунном!

Diksas, ans žioplys, mieste didei pasipūtęs
Ir su rūbais blizgančiais kasdien išsirėdęs,
Nei dievaitis koks tarp būrų skiauturę rodo;
O kad kartais mes jo glūpą girdime kalbą,
Tai ir būrs tur spiaudyt ir didei nusidyvyt;
Ypačiai kad apjekėlis toks niekina dievą
Ir besišypsodams kaip pons glūpumą parodo.

Ak! kiek sykių Krizas, į vyžas įsinėręs
Ir savo skrandą būrišką viešėt užsimovęs,
Po prastu savo stogu nei lakštingala čiauška,
Kad širdingai jis savo dievą pradeda garbint.

Закоренелый бездельник, набравшийся в городе спеси,
Новым нарядом своим щеголять ежедневно привыкший,
Перед крестьянами Диксас топорщит жирный затылок,
Ну, а когда сквозь зубы он слово-другое обронит,
Бурас, и тот плюёт, удивляясь, особенно если
Бога и белый свет начинает хулить он порою
И, улыбаясь по-барски, лишь тупость свою проявляет.
В лапти дрянные всегда обувается Кризас почтенный.
Смотришь — годами всё тот же кожух надевает крестьянский
И соловьём распевает под крышей невзрачной своею,
Господу хвалу воздавая от чистого сердца.

Tu, paukšteli miels! ne poniškai prisivalgai.
Riebūs mūs lašiniai bei dešros tau nepatinka,
Ir keptų bei virtų valgių mūsų nenori.
Tu neliūbiji pyragų neigi ragaišių
Irgi nevožiji gardžiausio gėrimo ponų;
Bet, pasisotinusi prastai, tikt vandenio trokšti.
Tikt n'užmiršk, gaidau! per daug giedodama valgyt.
Imk drąsa, nečėdyk, kas mums birbina galvas.
Valgyk sau sveika, kad nori, vabalą margą!
Valgyk grikvabalius, muses ir dyviną žiogą!
Valgyk skruzdėles ir jų negimusią veislę;
Bet ir mūs paminėk į mūsų girę parėjus,
Kad dainuodama dar ilgiaus savo vasarą švęsi
Ir „Jurgut, kinkyk, paplak, nuvažiuok“ pasakysi.

Знаем, любезная пташка, по-барски не ешь и не пьёшь ты,
Окорока и колбасы тебя ничуть не прельщают.
Вовсе не жалуешь барских напитков, шипучих и сладких,
Пищу простую свою запиваешь водою из лужи.
Помни ж всегда о еде! Пожирай, милосердья не зная,
Тех, кто с жужжаньем и звоном докучливо вьётся над нами,
Сколько угодно ешь козявок разнообразных!
Майским жуком, мошкарой, стрекозой расписною не брезгуй,
Ешь, дружок, муравьёв, не щадя их личинок несметных.
Только про нас не забудь, по весне явившись и лето
Празднуя в рощах, когда раскатишься звонко и чётко:
«Сивку подхлёстывай, Юргис, бичом пощёлкивай бойко!»

Tu niekings žmogau! mokinkis čia pasikakint,
Kad tau kartais tropijas skūpai prisivalgyt.
Į paukščius žiūrėk! Viens prastą kirminą kramto,
O kitsai, stokodams grūdo, gnyba žolelę.
Juk ir jie kasmets, mus atlankyt sukeliavę,
Kūdą vis ir alkstantį pavasarį randa;
O vei, todėl tikt nei viens niekados nesiskundžia.
Tau, žmogau! miels dievs daugių daugiaus dovanojo,
O tu dar niurni, kad, kartais alkaną dieną
Ar skūpus čėsus sulaukęs, šiupinį gramdai?

Ты, человек недостойный, учись утешаться немногим,
Ежели скудно поесть иногда и тебе приведётся.
Вон — погляди на пернатых: одни — червячками дрянными
Кормятся в трудную пору; другие — в поисках зёрен
Бродят, травку щипля; ведь и этим гостям ежегодным
Нечем в наших краях разжиться ранней весною,
Но на лишения всё же из них никто не пеняет.
Больше тебе, человек, отпущено благ всемогущим,
Что же ворчишь ты, когда приходится в год недородный
День ото дня порой шюпинисом одним пробавляться.

Taip sumišai besijuokiant, štai ūžims pasikėlė
Ir tuojaus erelis rėkaudams pasirodė.

„Tič, – tarė jis, – pulkai susirinkę, liaukitės ošti
Ir tikrai klausykit, ką mes jums pasakysim.“
Štai tuojaus visi pulkai, girdėdami šauksmą,
Iš visų pašalių susilėkę jam pasirodė:
„Štai mes, jūs tarnai! Ką velys jūsų malonė?“ –
„Mes, – atsiliepdams jiems erelis, – norime tardyt,
Kaip jūsų mylista žiemos bėdoj išsilaikėt.
Ar pristokot ko? ar kas tarp jūsų pagaišo?
Rasi ką šeškas ar baisinga pelėda sudraskė,
Mažu ką vanags ar kiaunė kopinėdama smaugė,
Mažu ką neprietelius žmogus mums numušė šaudams
Ar kytriai, nei koks klastorius, gyvą pakorė,
O paskui prisiėst skauradoj iškepė biedžių.“

Произошло меж пернатых внезапно смятенье большое:
С клёкотом властным и грозным орёл явился пред ними.
«Цыц! – вскричал он. – Молчок! Пусть затихнет галдёж бестолковый,
Слово высокое наше послушайте с должным вниманьем».
Всяких пернатых тьмы услыхали призыв громогласный,
Вмиг отовсюду слетелись, представ перед царские очи.
«Слуги покорные, царь! Что милость ваша прикажет?»
– «Мы, – отозвался орёл, – немедля узнать пожелали.
Как перенесть ухитрился народ наш суровую пору?
Туго ли вам приходилось, и все ли в живых вы остались?
Может, кто в когти сове иль хорьку случайно попался?
Может, кого ястребок заклевал, придушила куница?
Может, злодей-человек подстрелил, в лесу подстерегши,
Или в железный капкан залучил коварно беднягу,
Чтобы, его общипав да зажарив, съесть без остатка…»

Taip ereliui klausiant ir aštriai tyrinėjant,
Gandras ant savo lizdo nei koks pons išsisplėtęs
Bei besikloniodams vis ir linksmai šokinėdams:
„Dievs, – tarė, – svietą šį sutverdams ir budavodams,
Daugel tūkstančių gyvų sutvėrimų leido
Ir kožnam savo valgį bei gyvatą paskyrė;
Juk visur, kur žiūrim tikt, dyvai pasirodo.
Pulką šį sutvertojis į vandenį siuntė,
O anam ant orų plaukt sparnus dovanojo.
Daug gyvų daiktų po medžiais girėse slapos;
O kiek ant laukų linksmai plezdendami laksto
Ar pas žmones ant kiemų čypsėdami burzda!
O vei kožną dievs vis su pasimėgimu sotin.

Тою порой, как орёл обо всём узнавал хитроумно,
Аист, в гнезде своём, пыжась, как барин заправский,
Кланяясь всё да кивая, да весело прыгая, молвил:
«Бог в ту пору, когда наш мир воздвигал он и строил,
Тысячи тварей земных сотворил и пустил размножаться;
Каждой твари назначил он пищу, – и подлинно диво
Всюду, куда ни глядим, открывается нашему взору!
Воду одним во владенье отвёл навсегда всемогущий.
Он существам другим дал крылья, чтоб в воздухе плавать.
Много пернатых в лесу под деревьями прячется тайно,
В поле много летает, в садах порхает беспечно
Иль во дворах у людей копошится; смотришь, однако,
Пищей-питьём господь оделяет всех без различья!

Kartais tropijas sulaukt ir alkaną dieną,
Kad visur per daug baisybės darganų teška
Ar kad dėl žmogaus griekų dievs vargina svietą.
Neprietelis žmogus daugsyk mus gandina šaudams
Irgi bičiulių bei genčių mums numuša daugel.
Kartais nuo vaikų meilingus atskiria tėvus
Ar aukštai kopinėdams paukščių pavagia veislę.
Sykiais vargstantiems nei koks geradėjas
Grūdus patvoryj barstydams ragina valgyt;
O štai, kad tarp mūsų kas ką lest pasidrąsin,
Su tinklais glūpiems draugams iškadą padaro

Ar su provyta pūčka tikt muša, tikt muša.

Правда, и скудные дни выпадают порой, особливо
Если надолго повсюду дожди зарядят проливные,
Либо терзает мир господь за грехи человека.
В ужас приводит нас всех человек, когда он стреляет,
Нашей родни без числа загубил этот недруг старинный,
Часто птенцов желторотых лишает он матери милой,
Или из гнёзд родных похищает, взобравшись высоко.
Изголодавшимся птицам, как впрямь благодетель какой-то,
Зёрнышек он отсыпает — пожалуйте, мол, насыщайтесь!
Если же кто, соблазнясь, подойти осмелится близко,
Он простаков таких накрывает крепкою сетью
Или огнём из ружья их косит, косит нещадно…

Ir tarp paukščių rods tūls kytras randasi sukčius,
Kurs gardžiai prisiėst slaptoms savo numuša draugą.
Vanags, ans klastorius, ir pelėda, jo dumčius,
Ir varnai su varnoms, ir jų draugala šarka
Daug kasmets, kaip žinom, išgaišina nabagų;
Bet toksai razbaininks dar tarp mūs nesirado,
Kaip žmogus tūls yr, kad jis smaguriaut išsižioja.“

Но и меж птиц, конечно, мошенников тоже немало —
Эти не прочь поживиться мясцом друзей умерщвлённых.
Ястреб, алчный и злобный, сова, ястребиный советник,
Ворон, а также ворона с воровкой сорокой в союзе
Губят, как знаем, бедняг ежегодно десятками тысяч.
Всё же среди нас едва ль найдутся злодеи такие,
Как человек, когда он алчет лакомой пищи».

Taip besipasakojant, dyvų dyvai pasidarė.
Balsas nei nuskęstančio sušuko nešvankiai
Ir vis „gelbėkit, ak! gelbėkit“ padusėjo.
Tuo visi pulkai to garso taip nusigando,
Kad ir pats erelis jau kribždėti nedrįso;
Tikt šikšnosparnis dar viens su pilka pelėda
Iš biaurių pašalių pamaži pasidrąsino lįsti
Ir tikrai tyrinėt, koks strokas ten nusitiko.

Вдруг средь этих бесед неладное что-то случилось:
Голос истошный раздался, кричал утопающий будто.
«Ох, помогите, спасите!» — на .всю округу вопил он.
Остолбенело с испугу собранье пёстрое птичье.
Даже орёл на мгновенье застыл там, пикнуть не смея.
Только летучая мышь с неразлучной серой совою
Повылезали с опаской из тёмных своих закоулков,
Чтоб разузнать да разведать, что страшного произошло там.

Štai viens pons, puikiai rėdyts (tikt gėda sakyti),
Mislyk tikt, aukščiausių ponų viens, prisiėdęs
Ir visokių rinčvynių svetimų prisikošęs,
Voliojos ant aslos ir prasikeikdams rėkė:
Nes jis velnius ir velniūkščių kaimenę visą,
Dievą bluznydams, taip baisiai šaukti pagavo,
Kad visa pekla dėl to nusigandusi rūko
Irgi bedugniai jos bei pamotos prasivėrė.
Žinom juk visi, kaip ponai keikdami rėkia;
Bet ir būrai jau nuo jų mokinasi rėkaut.

Барин, наряжённый пышно (подумай — сраму-то, сраму!), —
Только подумай: почтенный, высокопоставленный барин,
Жирной едой нагрузясь и хватив рейнвейна не в меру,
По полу с воем катался, себя без конца проклиная.
Так он усердно чертей поминал с чертенятами всеми,
Так сквернословил он гнусно и так он орал несусветно,
Что наконец и самой преисподней сделалось жарко,
И ходуном заходили её потрясённые недра.
Нам-то известно, как баре умеют проклятьями сыпать,

Но уж от них набрались той мудрости бурасы также.

„Kas tau, biedžiau, kenk?“ – šikšnosparnis tyrinėdams
Irgi nuskųsdams poną tą pasidrąsino klausti.
„Ar gumbu sergi per daugel kabiar ėdęs?
Mažu pečenkos vėl iš pilvo veržiasi laukan?
Juk ir tavo tetėns užpernai taip prisiėdęs
Su savo pusbroliais, kaip tu, pilvuodami sirgo,
Ik paskiaus jie perplyšo ir numirė baisiai.“

«Что там с тобою, бедняга? – участливо, простосердечно
Пана летучая мышь спросила, духу набравшись. –
Или заморской икрой обожрался и брюхо схватило,
Или наелся жарких и назад всё прет из утробы?
Так же и дядюшка твой, мне помнится, жизнь свою кончил,
С кучей своих кумовьёв пируя год позапрошлый, –
Долго он, долго томился, покамест не лопнул да помер».

Štai didpilvis šitas, tą graudenimą jausdams,
Dar daugiaus išputo ir durnuoti pradėjo:
Nes jis tuo plaukų nuo kiaušės nupešė pluoštus;
O paskui barzdos nuo smakro pusę nuplėšė
Ir su nagais kumpais savo veidą visą sudraskė.
Bet dar tai negana; jis vis pinigų graibydams
Ir besispardydams su valgiais parmetė stalą;
Taip kad šunys, iš visų pašalių susibėgę,
Poniškus valgius ir brangius viralus ėdė.
Bet ir to negana; jis ėmęs didelį peilį
Gerklę su stemple jau perpiaut ištiesė ranką.
Čia šikšnosparnio širdis taipo nusigando,
Kad šikšniniai jo sparnai jau lėkt n'įgalėjo;
Ale pėlėdpalaikė, dėl to smertnai nusiminus,
Vėl atpenč tuojaus į namą savo sugrįžo
Ir naujienas tas bei tokį dyviną trūsą,
Kad orai pikti, kasnakts dar praneša svietui
Ir dėl to žmogaus tamsoj dūsaudama verkia.

Мыши летучей слова брюхачу растрогали сердце,
Вдвое раздулся и пуще чудесить стал перед нею:
Из головы исступлённо он выдрал несколько прядей,
Вырвал он вслед за тем и своей бороды половину,
После – щёки и лоб исцарапал ногтями кривыми.
Мало того, брыкаясь, ладонями по полу шаря
В поисках денег пропавших, он стол невзначай опрокинул,
Так что псы, гурьбой набежав со всего околотка,
Вволю наелись жарких да супов диковинных барских.
Только и этого мало: ножище схватив преогромный,
Горло себе перерезать совсем уж было собрался…
Тут-то у мыши летучей сердечко зашлось с перепугу,
В крыльях силы не стало, повисли они у бедняги.
Так – без подружки – сова, удручённая смертной печалью,
Вскоре назад воротилась одна-одинёшенька в дом свой
И о больших чудесах, происшествиях невероятных
Миру всему досель еженощно напоминает,
Неутешимо вздыхая и плача о том человеке.

„Ak! – tarė Lauras, rymodams ant stripinio savo, –
Vis niekai, kad tūls žioplys su Bleberiu vapa,
Būk pilionys vis linksmai kasdien prisivalgą
Ir miesčionys be vargų mieste šokinėją:
Nes tokie žiopliai, butus pamatydami margus
Ir karietas blizgančias girdėdami trinkant,
Mislija, kad kožnas ponas puikiai išsirėdęs
Nei kaip angelas danguj kasdien pasilinksmin.
Ak, gaidau! lietuviški kytri pilosopai
Taip glūpai nezaunija, kad šiupinį šutin
Ar kad jie viešėt naujas vyžas prasimano.

«Глупости, – молвил Лаурас, на палку свою опираясь,-

Блеберис глупости порет с разинями разными вкупе, —
Дескать, ночи и дни в городах бесшабашно пируют,
Дескать, в забавах привыкли свой век коротать горожане.
Эти разини, порой на хоромы роскошные глядя,
Слушая грохот карет господских раззолоченных,
Думают, видно, видно, всерьёз, что любой расфуфыренный барин
Вовсе не знает забот, веселится, как ангел небесный.
Эх, землячок, небось не порют умники наши
Этакий вздор, когда шюпинис выскребают усердно
Иль, собираясь в гости, хлопочут о новых лаптишках.

Juk tikt viens glūpums, kad Milkus, Kasparo tarnas,
Poniškai pasirodydams kožnam pasitursin
Ir būrus prastus per kiaulių jovalą laiko.
Tu nenaudėli! dėl ko taip iškeli nosį?
Ar jau užmiršai, kaip pernai, piemeniu būdams,
Ožkas ir kiaules glūpas pas Bleberį šėrei
Ir su vyžoms kaip glūps vaiks į baudžiavą traukeis?
Ar nežinai, kaip Pričkus, kad akėt nenorėjai,
Su botagu, kaip šulcui reik, tavo strėngalį drožė?
Tikt atsimink, kieksyk tavo tėvs, sopagus siuvinėdams,
Su kurpalium tau per rambią nugarą siekė,
O moma su ražu supykus mušė per ausį.
Ogi dabar jau kaip ponatis skiauturę rodai
Ir grumzdi, kad kartais būrs, pro šalį važiuodams
Ir tavo kardą su nauju diržu pamatydams,
Ne tuojaus, kad tu liepi, kepurę numauja
Ir, kaip nori tu, jisai nenor pasikloniot.

Разве не глупо, скажи, что подручный Каспарса, Милкус,
Ходит повсюду напыжась, большого барина корчит,
Бурасов, честных и скромных, он ставит ниже скотины.
Ты почему, подлец, перед всеми нос задираешь?
Или забыл ты, что Блеберис был твой хозяин недавно,
Ты ж, в батраках служа, кормил свиней да овечек,
Шлёпал в худых лаптях, как мальчишка, на барщину плёлся.
Вспомни: бывало, Причкус, как должно примерному шульцу,
Плетью по заду тебя хлестал, к сохе подгоняя.
Вспомни, как батюшка твой, выходя из себя, не однажды
Тяжкой колодкой сапожной в тебя запускал, чертыхаясь;
Также и матушка часто метлою тебя колотила.
Нынче ты барина корчишь, ты всё петушиться изволишь.
Бурасам нашим расправой грозить не стесняешься, если,
Издали саблю твою на новом ремне заприметя,
Шапок они не ломают да спин не сгибают в поклоне,
Глупой спеси твоей угождая беспрекословно.

Snargliau! eik pirma mokinkis kakalį šildyt
Ir savo pono suteptus sopagus nušluostyt.
Juk žinai, kaip jis tave dar per drimelį laiko
Irgi nupliekdams su lazda tavo nugarą skalbia.
Vei kapė bei tė kaip reik dar košt neprimokai!
Eik užsimauk vyžas, eik vėl pas Bleberį slūžyt!
Tikt girdėk, kaip kiaulės jo bei alkanos ožkos
Graudžiai pro plyšius žiūrėdamos ėdesių rėkia.
Kam išbėgai taip, prastojęs kaimenę kiaulių?
Ar negavai, ko reik, kasdien iš Bleberio rankų?
Ar reikėjo tau bensyk išgint neprivalgius?
Tikt atsimink, kaip jis tave nuogą priėmė slūžyt
Ir kiek utėlių jis tau kasdien nušukavo,
Ik išmokai jo penkias kiaules surokuoti;
O paskui kiek vargo jis ir ašarų verkė,
Ik jo daglą puskuilį su penketa kiaulių
Pro vartus išguit drįsai, kad išginė kerdžius.
Ogi dabar, žioply, jau gėdies Bleberio namo
Ir jo viežlybą, bei vertą niekini vardą?
Tič tiktai, ponat! mažu vėl teks žingine žengti,
Ir, kad dievs koravos, dar verkdams ubagais eisi.“

Ты бы, сопляк, сперва научился растапливать печку
Да своему господину ботфорты как следует чистить.
Будто не знаешь и сам, что хозяин твой нынешний, Каспарс,
Олухом круглым тебя почитает и палкою греет:
Ты ведь ни «капэ», ни «тэ» наливать не умеешь, как нужно.
Ну-ка, в лапти влезай да опять в пастухи подавайся!
Или не видишь, дурак, как несчастные свиньи да козы
Тычутся в щели закутка, соскучась по корму и пойлу,
Ну, и зачем от скотины ушёл ты, скажи-ка на милость?
Разве тебе за труды не уплачивал в срок твой хозяин?
Разве хоть раз, не поев, ты со стадом на луг отправлялся?
Вспомни, как в дом свой тебя, голоштанного, Блеберис принял,
Сколько вычесал вшей из твоей башки он, покуда
Свинок его считать научился ты с помощью божьей!
Сколько потом провозился с тобой, недоумком, покамест
Свинок его полдесятка с кабанчиком пёстрым дерзнул ты
Выгнать из хлева на двор да прогнать их через ворота!
Нынче — хозяйского дома чуждаешься, неблагодарный,
Дерзко пренебрегаешь хозяйским именем честным.
Дурень! В колодец не плюй! Не пришлось бы каяться после!
С нищей сумою пойдёшь, если бог за грехи покарает!»

„Rods, — tarė Pričkus, — jauns žmogus durnai dūkinėdams
Nei sidabras gyvs stikle mudriai šokinėja
Ir per daug durnuodams sau iškadą padaro.
Juk ir mes visi, glūpi dar būdami snargliai,
Daug visokių niekniekių glūpų prasimanėm.
Mes vaikai ant ūlyčių krūvoms susibėgę,
Lošom ir durnus štukus kaip kūdikiai taisėm.
Čia viens pulks, sau žirgus iš lazdų pasidaręs
Ir glūpai skraidydams, ant purvų šokinėjo;
O kitsai, botagus sau iš plaušų nusisukęs,
Pauškėjo be kelnių šen ir ten bėginėdams;
Bet mergaitės, pačios dar privalydamos auklių,
Jau iš lopų margas sau lėles madaravo
Ir aukuodamos ant alkūnių garbino bostrą.
Žinom juk, kaip vaikesčiai savo vasarą švenčia.
Poniški vaikai, su būriškais susisėdę,
Kartais broliškai purvus krapštydami žiopso
Ir taip viens, kaip kits, niekus be razumo plūsta;
Juk ir ponų vaikesčiai taip jau per subinę gauna,
Kad jie, kaip kiti vaikai, į patalą meža.

— «Люди в года молодые, — раздумчиво Причкус промолвил, —
Резвостью схожи со ртутью, что бегает в склянке, и, часто
Удержу вовсе не зная, себе лишь вред причиняют.
Все мы, по-разному каждый, в ту пору, конечно, дурили,
Глупостей всяких не счесть, что мы натворили в те годы.
Помню, как в детстве, бывало, на улицах мы собирались,
Всё позанятней придумать забавы да игры стараясь:
Те — за ватагой ватага — верхом на тростинках и палках
Целые дни по грязи носились с криком и визгом.
Эти, кнуты из мочалы скрутив, намотав их напалку,
Щёлкали ими, летали туда и сюда, как шальные.
Девочки, что не могли без нянек сделать ни шагу,
Куклы уже мастерили из пёстрых лоскутьев и тряпок,
Их на ручонках таскали и нянчили — пащенков милых.
Мы-то ведь знаем, как дружно весну справляют ребята.
Знаем, барчата нередко с детьми крестьянскими рядом,
Словно как братья родные, в пыли да грязи копошатся;
Знаем, всякую чушь болтают те и другие.
Так же барчук в наказанье шлёпок получает по заду,
Если, как прочие дети, осмелился в люльку наделать.

Andai aš su gromata siųsts pas Kasparą bėgau
Ir pas jo vartus naujus, kepurę nuvožęs,
Laukiau, ik tarnai man ponui lieps pasirodyt.
Štai žiūriu, viena boba vis lekuodama bėga.
Gryta! tariau, kas kenk, kam bėgi taip išsižiojus? —

„Ak! – tarė ji kytriai, – ponatis mūs maloningas…“
Taip ištarusi, ji tuojaus pas upę nušoko
Ir jo pridergtas buksvas su kultuve skalbė.
Aš besigėdėdams išvydau Krizą bekumpsant.
Vaike, tariau, ką misliji toktai pamatydams?
Ar ne mūsų žiopliai taip jau šokinėdami daro?

Каспарсу на дом письмо надлежало немедля снести мне;
К новым воротам его подойдя, я скинул шапчонку,
Ждать приготовясь, покуда войти не прикажет хозяин.
Вижу – бабёнка бежит, задыхается… «Грита, – кричу ей, –
Что ты летишь как шальная? Беда, что ль, в доме случилась?»
– «Ах, – отвечает лукаво, – барчонок-то наш начудесил…»
К пруду пускается вмиг и штанишек загаженных пару
Ну полоскать, выжимать… Поспешил я скорей отвернуться.
Тут же неподалёку приметив стоящего, сгорбясь,
Кризаса: – «Друже,– сказал я,– что думаешь, видя такое?
Разве не пакостят так же бездельники милые наши?»

Būrkos savo lėles glūpas su skrandgaliu rėdo
Ir suvystytas į tamsų pasalį kiša;
Juk žinai, kaip būrai veislę savo kavoja.
Ale žiuponės savo lėles, margai dabinėtas,
Ant šilkų perynų vis į patalą guldo.
O vei ir jų lėlės, kad joms kas pasidaro,
Lyg taipo, kaip ir mūsiškės, klykia nešvankiai.
Bet jau ir taip visur, kol sviete kūdikiai augo,
Vargt ir verkt vaikų pirmiausias buvo remestas.
Dar nei viens ikšiol n'užaugo vis besijuokdams;
Ir iš lopšio dar nei viens n'iškopo neverkęs.

Новорождённых своих наряжают в отрепья крестьянки
И уложить спешат потом в какой-нибудь угол.
Нам-то известно, как бурас потомство растит-опекает.
В бархат и шёлк одевают младенцев счастливые баре,
Их, спеленав, кладут на перины из тонкого пуха,-
Ан поглядишь, от крестьянских не разнятся барские дети.
Так же несносно, как наши, орут – чуть что приключится.
Что тут попишешь? Пока растут на свете ребята.
Первое их ремесло – болеть, да плакать, да хныкать,
И ни один досель не вырос в радости только,
Кто, скажете из нас не плакал, будучи в люльке?

Vei žiūrėkim tikt! jau vėl su padėjimu dievo
Vasarą su šiltoms dienelėms jaučiame grįžtant.
Vei! kaip žemė jau savo nuogą nugarą rėdo,
Ir kaip kožnas daikts atgydams pradeda džiaugtis.
Ant! paukšteliai po dangum, pulkais susilėkę,
Linksminas ir sumišai visur skraidydami juokias;
O keli tarp jų pautus rokuodami deda.
Ale palaukit tikt, iki pautai, jūsų padėti,
Čypsės ir po tam dar jus užaugdami kvaršins
Ir už procią jums menkai dėkavos išlėkę.
Taigi matai, taip paukščiams, taip ir mums pasidaro,
Irgi be vargo būt negal nei viens šiame sviete.

Видно, соседи, в наш край возвращается, с помощью божьей,
Милое лето – с теплынью, с деньками погожими – снова.
Зеленью свежей земля обнажённую спину накрыла.
Всякая тварь оживает и, лето почуя, ликует.
Вот собираются в небе несметными стаями птицы,
Носятся взад-вперёд, веселясь от зари до заката.
Тайно успел положить из пернатых кое-кто яйца,
Но – погодите немного – и, вылупясь, птенчики ваши
Писк подымут и вам докучать начнут нестерпимо.
Но за труды никакой благодарности вы не дождётесь.
Так вот и с нами бывает, как с птицами,– знаем, на свете
Тяжких забот не избег ни один из нас, горемычных.

Juk ir mes, dar A, B, C nemokėdami čiauškėt,
Daug vargų bei strokų tėvams savo padarėm,
Ik bėginėt išmokom ir ką žaist prasimanėm.
O vei! kaip kiek išminties užaugdami gavom,
Ir darbeliai su vargeliais jau prasidėjo;
Štai tuo žirgai su lėlėms į šūdą pavirto.
Ak išties! kita prova, kad piemenio skrandą
Jau užsimovęs ožkas ir kiaules varinėji
Ar kad dargana su lytum pluk nugarą prausia.
Ei paskui, kad jau akėčias reik sekinėti
Ar kad margis su laukiu nenor rėplinėti,
Mislyk tikt! koktu dūšelei čia pasidaro.
Ypačiai kad po tam jau gyvos randasi lėlės
Ir nenaudėlės dėl niekų kvaršina galvas.
Juk žinai, kaip yr, kad pulks lėlių pasidaro.

Мы ведь, А, Б и В ещё произнесть не умея,
Много забот и тревог родным доставляем, покуда
Бегать, а после играть наконец начинаем друг с другом.
А помаленьку с годами разумней став и степенней,
Мы получаем на долю труды и беды лихие.
Куклы с лошадками разом как будто рукою смахнуло,
Дело другое, когда, кожух накинув пастуший,
Коз и свиней выгоняешь и с голоду брюхо подводит,
Или как дождь проливной обмывает плечи и спину,
Или позднее, когда ты следуешь за бороною
Да остановится вол, заупрямясь вдруг, — и ни с места.
Эх, как подумать — тоска возьмёт, особенно если
Куклы живые вдобавок в домишке твоём заведутся
И от зари до заката начнут досаждать пустяками.
Знаешь небось, каково, если куча является кукол!

Ak Adom! tu pirms žmogau išdykusio svieto.
Tu su savo Ieva, sode pavasarį švęsdams
Ir gėrybes uždraustas slaptoms paragaudams,
Sau ir mums nabagėliams daug padarei vargelių.
Dievs, tave koliodams ir žemę visą prakeikdams,
Dėl raspustos tos iš rojaus išmetė laukan
Ir su rūpesčiais tavo duoną paliepė valgyt.
Taip po tam tu, biedžiau, su Ieva, savo mote,
Išrėdyts su kailiais per laukus bėginėjai
Ar tamsoj pasislėpt į krūmus kur nusitraukei.
Žinom juk ir mes, koktu, kad kaip nusidėję
Slapomės ar kartais šen ir ten bėginėjam.

Ах, Адам, человек ты первый грешного мира!
С Евой своей в раю ты справил праздник весенний.
Сладких запретных плодов потихоньку с нею отведав,
Много-премного зла и себе и нам причинил ты.
Бог разбранил тебя и в гневе проклял всю землю,
Тотчас тебе повелел он из рая вон убираться.
Хлеб свой в поте лица добывать ты будешь, сказал он.
Ты удалился, несчастный, и с Евой, жёнкой своею,
В грубые шкуры одетый, бродил по полям бесконечным,
Прятался робко во тьме и в кустарник глухой забивался.
Знаем — так же и мы: как бед натворим, то с перепугу
Прячемся или блуждаем и места себе не находим.

Tau, tėtat garbings! pirmykščios tavo lėlatės
Daug dyvų bei daug neregėtų štukų padarė,
Ik po tam iš tų lėlių pulkai prasidėjo
Ir kaip mūsų žiopliai tavo biedną kvaršino galvą.
Tu su savo Ieva juk dar nebuvota bandę,
Kaip jūsų veislės pulks ant svieto šio prasiplatins
Ir kiek vargo jums jisai padarys užaugdams.
Ale ką mislijo Ievutė, tavo pačiutė,
Kaip jos pirmas vaiks užgimęs klykti pagavo
Ar kaip pirmąsyk ji jam pasturgalį šluostė
Ir prastai suvystijus į pašalį kišo?

Ale, žėlėk dieve! kiek džiaugsmo judu sulaukėt,
Kaip susivaidijęs ant lauko juma sūnelis
Barės rūstaudams ir brolis numušė brolį?
Ak Adom! tu, peržengdams prisakymą dievo,
Sau ir mums padarei vargus ir didelę bėdą.
Juk ir mes, kaip tu, šime sviete vos pasirodom,
Štai tuo bėdos iš visų pašalių susibėga
Ir nuo lopšio mus ik grabo persekinėja.
Ale ką galim veikt? Pakol šime krutame sviete,
Turim jau visaip, kaip taiko dievs, pasikakint.
Juk ne vis reik vargt, ir tokios randasi dienos,
Kad, prisivargę daug, širdingai vėl pasidžiaugiam.

Праотец наш! Конечно, чудесили тоже немало
Первые дети твои, покуда выводок целый
Не народили они. И тебе, старина, досаждали
Чада твои дорогие, как нам досаждают! Ведь правда,
Ты со своею подругой не ведал, как буйно на свете
Племя твоё расплодится и сколько всяческих тягот
Вынести придётся, пока наконец не войдет оно в силу.
Знать бы, что думала Ева, твоя ненаглядная жёнка,
Крик младенца услышав, пронзительный, неугомонный,
Или тогда, как впервые задок сыночку обтёрла
И, спеленав неумело, проказника сунула в угол.
Много ль вы, господи боже, узнали радости оба
После, как передрались сынки любимые ваши,
Брат на брата восстал и в гневе лишил его жизни!
Эх, Адам, Адам! Преступив повеленье господне,
Сколько горя и бед и себе и нам причинил ты!
Только родимся на свет, как в гости — одна за другою —
Жалуют беды к нам — и от люльки и до могилы
Ни на минутку от них избавления нам не дождаться.
Чем тут поможешь? Покуда на белом свете живётся,
Все мы должны терпеть, подчиняться воле господней.
Да и не всё же страдать! Деньки выпадают иные:
Вдосталь нагоревавшись, мы радость вдруг обретаем.

Ant žiemos smarkums su šalčiais vėl pasibaidė,
Ir ilgų nakčių tamsybės jau nusitrumpin,
Vei, saulelė, tikt žiūrėk! atkopdama greitai,
Brinkina jau laukus ir žolę ragina keltis;
Vei! ne daugio reiks, tuo vėl kvietkas pasidarę
Uostysim ir garbinsim pavasarį margą.
Bet ir jūs, darbai, mus vėl užniksite dovyt,
Kad turėsim su vargais į baudžiavą trauktis.
Ak! kiek trūso reiks, ik į skūnes sugabensim,
Kas ant aukšto dar ar klėtyj guli be diego;
Ir kiek dar palūkėt reikės, iki šiupinį virsim.

Видите — злая зима от нас отступила в смятеньи,
Стали светлей вечера, и ночи укоротились,
Солнце в полдень всё выше и, в небе стоя подолгу,
Землю теплом размягчает и травам велит подыматься;
Скоро, глядишь, и цветы на лугах взойдут — запестреют,
Рвать мы их будем, и нюхать, и славить весну повсеместно.
Только труды и заботы на нас навалятся снова,
Время пришло — спозаранку на барщину людям тащиться.
Сколько мучений, покуда в амбары свезём умолот мы,
Что непроросшим зерном по клетям лежит в ожиданьи,
Сколько ещё дожидаться, пока шюпиниса наварим.

Nugi dabar, į dievišką žiūrėdami ranką,
Judinkimės pamaži nuolatai nusitvert savo darbus
Ir nepabūkim, kad išgirsim darganas ūžiant
Ar kad orai mus daugsyk visoki nugandins!
Skubinkimės, eime nugaminkim reikalą kožną!
Orei žagrių reiks, palyčių beigi noragų;
O akėčioms reiks negelių bei bingusių kuinų.
Žinom juk, ką jaučiai mums rėplodami riekia,

Kuinai tur, kad liepiam jiems, skraidydami trupint.“

Ну, так теперь поскорей, уповая на милость господню,
С должным усердьем возьмёмся за труд повседневный, соседи,
Пусть не смутится никто, если вновь зашумит непогода,
Пусть никого не пугает весеннее непостоянство.
Мешкать не будем, соседи! О нуждах время подумать!
Скоро на пахоту. Сохи наладим загодя, братцы!
Новые зубья нужны к боронам и добрые кони.
Дело известное: там, где волы насилу плетутся,
Бодро кони бегут, на них лишь только прикрикни».

„Rods, – tarė Slunkius, – vėl bensyk su padėjimu dievo
Išmiegot ir sąnarius atgaivinti galėjom.
Ak! kieksyk aš, rūpesčių visų neminėdams,
Ištisas ir užklots krankiau pas kakalį šiltą.
Ak! kad būt ilgiaus žiema pas mus pasilikus,
Ir kad vis miegot mums būtų sviete paskirta.
Ogi dabar, žėlėk dieve! jau vasara randas
Ir darbų naštas nusitvert vėl ragina rengtis.
Ak! man ašaros į akis jau pradeda trauktis;
O mano motė (žinot juk, koks moterų būdas)
Vis susiraukus ir rankas grąžydama verkia.
Aš vaitodams vis ir tokią bėdą matydams,
Ak! močiute, tariu, bensyk ir verkusi liaukis;
Juk dar čėso yr, ir mes atliksime darbus.
Žinom juk, kad ratas sens, pamaži besisukdams,
Tą daugsyk apgauna, kur vis ritasi šokdams;
O kieksyk sutrūksta jis permier besisukdams!
Kuinas taipo jau ramboks, vis žingine žergdams,
Kartais dar toliaus uždėtą nuneša naštą,
Kaip tūls žirgs durnuodams ir piestu šokinėdams;
O kiek sykių dar iškadą sau pasidaro.
Ant! smalininks, saikėt ir išparduot savo smalą
Per kiemus pamaži važinėdams, kirkina ratą,
O tiktai nusipelno jis sau pinigą grečną.
Kas iš to, kad būras tūls, per daug bėginėdams
Ir permier besirūpindams, savo sunkina širdį!

– «Кажется, – молвил Слункюс, – недавно, с помощью божьей,
Малость от тяжких трудов отдохнули руки и ноги.
Эх, и сколько же раз, забыв лихие заботы,
Я, полушубком укрывшись, храпел у натопленной печки.
Да, вот если б зима на дворе подольше стояла,
Если бы только спать суждено нам было на свете!
Смотришь, господи боже, весна стучится в окошко,
Бремя забот пора на плечи вскидывать снова.
Эх, как вспомню о том, из глаз запросятся слёзы.
Жёнка моя – небось обычай знаете бабий –
Днями ходит, нахмурясь, да руки ломает, да плачет…
Видя такую беду, говорю я, кряхтя и вздыхая:
«Матушка, угомонись, поревела малость – и хватит!
Верь, совладаем с работой не хуже других! Ведь известно,
Старое вертится тихо всегда колесо, а надёжней
Ну, а такое, что мчится, несётся с бойким подскоком, –
Смотришь, на полпути развалилось и прочь отлетело.
Так же ленивый конь, что плетётся шагом неспешным,
Часто громоздкую кладь уносит шибче и дальше,
Ну, а горячая лошадь, что рвётся вперёд, как шальная,
Без толку силы растратит и тут же от клячи отстанет.
Так же, к примеру, дегтярник: тишком по дворам деревенским
Он на тележке дрянной разъезжает с дёгтем-смолою.
А посчитай – так небось выручает немалые деньги.
Что, скажи, из того, что бурас иной суетится,
Что из того, что терзает заботами без толку сердце?»

Tėvs mano Kubas taip glūpai kol gyvs nepadarė,
O ir jo tėvs Stepas taip gyvent nemokino.
„Vaikai! – rėkdavo jis, ant demblio girts išsitiesęs

Ir su žaku prastu kaip prastas būrs užsiklojęs, –
Vaikai! šiukštu jums naujus niekus pramanyti,
Taip gyvenkit, kaip mes, tėvai jūsų gyvenom.
Vis protingai, vis pamaži nusitverkite darbus.
Čėdykitės kytriai jauni, dar būdami klapais,
Kad dar ir senysta ką ras atšokdama kartą.“
Tuos žodelius savo tėvo aš tikrai nusitvėriau
Ir, kol gyvs krutėsiu, jų kasdien paminėsiu.“

Кубас, отец мой покойный, таким дурачиною не был,
Также и дедушка Стяпас учил меня жить по-другому.
«Дети! – бывало, кричит, на рогожке с похмелья валяясь,
Словно простой мужик, дерюгой грубой укрывшись, –
Дети, и думать не смейте о новшествах разных, – живите
Так, как родители ваши, как деды и прадеды жили:
Не суетясь, не спеша, принимайтесь за труд повседневный, –
Силы щадите свои, покуда вы молоды, чтобы
Кое-что вам про запас на грядущую старость осталось».
Эти слова отца и деда навек я запомнил,
Их, доколе я жив, вспоминать и твердить не устану».

Tas durnas kalbas visi girdėdami būrai
Gėdėjos; bet Pričkus jam drąsa pasakydams:
„Eik, – tarė, – šūdvabali! kur šūdvabaliai pasilinksmin.
Juk tu jau su savo namais, kasmets šūdinėdams,
Sau ir mums, lietuvninkams, padarei daug gėdos.
Aš, kad man skvieruot pons amtsrots urdelį siuntė,
Tau, žinai, daugsyk taipo per nugarą drožiau,
Kad iš skrandos tavo senos sklypai pasidarė.
O kieksyk tave vakmistras kone visą nulupo
Ir tu raišėdams vos vos į baudžiavą traukeis.
Neprieteliau! tu, lėbaudams ir vis smaguriaudams,
Lauką su tvoroms ir namą visą suėdei;
O dar ir savo vaikesčius pagadint nesigėdi?

Речь неразумную эту услышав, соседи смутились,
Но напрямик лентяю ответил Причкус: «Ступай-ка,
Жук навозный, туда, где раздолье вашему брату.
Из году в год с семьёй увязая по горло в навозе,
Ты и себя самого и нас, литвинов, позоришь.
Я, как подать взыскать прикажет амтсрат, бывало,
Сколько тебя по спине в сердцах дубьём колошматил,
Клочья летели порой с твоего кожуха и кафтана.
Вахмистры сколько, припомни, тебя, беспутного, драли, –
Ноги едва волоча, не раз на барщину брёл ты,
Лодырь! Кутя бесконечно да лакомясь сытной едою,
Ты запустил вконец и полоску свою и домишко,
И совращать вдобавок детей своих не стыдишься.

Bet, jūs viežlybi kaimynai, jūs gaspadoriai
Su grečnoms gaspadinėms, mums nereik nusigėdėt,
Kad mes, būriškus jau vėl nusitverdami darbus,
Mėšlus rausim ir laukus įdirbdami vargsim;
Juk ir pirmas sviets, šventybę savo prapuldęs,
Su darbais ir rūpesčiais savo pleškino puodą:
Nes be trūso dievs mus išmaitint nežadėjo,
O tingėdami vis ir snausdami sviete netinkam.
Kad skilvys išalkęs nor gardžiai pasilinksmint,
Tai pirma tur visas kūns viernai pasipurtint.

Нам же, соседи честные, друзья любезные, – нам же
Нечего, знаем, стыдиться, когда в урочную пору
Вновь за крестьянскую нашу работу примемся дружно.
В поте лица пахать, боронить и сеять мы будем.
Так ведь и первые люди, вослед за грехопадением,
В тяжких заботах, в трудах насущный хлеб добывали.
Не обещался всевышний кормить нас, грешных, задаром.
Не проживёшь на свете, ленясь да валяясь бездела.
Если, приятель, хочешь поесть и сытно и вкусно,

В поле ты должен сперва потрудиться, сил не жалея.

Taigi nutverkim jau kiekviens savo jautį
Ir išrėdę jį kaip reik klausyt pamokinkim:
Nes, ką žiemą jis yra stalde sudūmojęs,
Tur visiems pasakyt, kad vėl jau vasara grįžta.
Tu žioply Merčiuk! dėl ko juokies išsišiepęs?
Ar tai juoks, kad būrai tur į baudžiavą rengtis?
Tu dar nebandei, koktu, kad stengiasi margis
Ar nusiminęs žalis tikt vos vos rėplinėja.
Tikt bandyk, koktu, kad amtmons pradeda rėkaut
Ir nesvietiškai prasikeikdams iltinį griežia

Так что возьмёмся теперь за упрямых быков попроворней,
Их мы украсим венками, потом послушанью научим.
Всё, что за долгую зиму они передумали в стойлах,
Пусть нам поведают нынче — весенними тёплыми днями.
Что ты оскалился, Мерчис? Над чем смеяться ты вздумал?
Или забавно, что время крестьянам на барщину выйти?
Ты ведь не знаешь, сопляк, каково, когда пестрячок твой
Вдруг заупрямятся или соловый еле плетётся.
Вот и увидишь, сладко ль, когда заругается амтман,
Топнет ногой, заорёт, заскрежещет в гневе зубами.

Tu nenaudėli Puky! taip jau susimislyk,
Kad tave Lauras arti nusiųs ant Kasparo rečių.
Tu kasmets juk nei razbaininks vargini jaučius
Ir nei koks lupiks galvijį kankini biedną.
Tikt baisu žiūrėt, kad kerdžius išgena bandą
Ir tavo jaučiai pro vartus vaitodami žergia:
Nes čia biedžius viens vos vieną paneša ragą,
O kits ten uodegos netekęs vos rėplinėja.
Andai vakmistras, pas mus skvieruot atsibastęs,
Klausė koliodams, kas biedžiams tiems nusitiko.
„Ak! — tarė Paikžentis, — Pukys juos taip pagadino“.
Ak! tu neprieteliau, ką dirbi, ben susipraskie,
Ar tu jau visai padūkai taipo begyvendams?
Mislyk tikt, koktu tau būtų, kad tavo margis,
Prie galvos tave tverdams, žagrę vilkti priverstų;
O paskui, tave visą jau smertnai nustekenęs,
Su šiaudų kūliu kaip jautį šerti pagautų
Ir mėsininkui sprandą tavo nusukt nugabentų.
Mislyk tikt, koktu tau būtų, kad pasikinkęs
Nei koks jautis vilkt turėtumbei savo žagrę.
Taigi, žmogau, dėkavok už tai kasdien savo dievui,
Kad tavo laukis su dvyliu tau padeda dirbti
Ir kad kuinai tau akėdami žengt nesistengia.

Злыдень Пукис, не мешало б умом и тебе пораскинуть,
Ежели Лаурас пошлёт распахивать Каспарсу пустошь,
Ты ведь бычков своих загоняешь бесчеловечно,
Как живодёр настоящий скотину бедную мучишь.
Страшно, ей-богу, смотреть, как стадо пастух выгоняет
И за ворота быки выходят с жалобным рёвом.
Вот проходит один, шатаясь, со сломанным рогом,
Вот, облезлый, бесхвостый, плетётся другой через, силу.
Взыскивать подать намедни явился начальник, и тут же
Стал он у всех дознаваться, что сделалось вдруг со скотиной.
«Это, — Пайкжентис молвил, — мерзавец Пукис постарался».
Что ты творишь, злодей? Одумался хоть бы немного!
Совести нет у тебя, совсем, как видно, рехнулся.
Ты рассуди, каково, если б вдруг твой бык, как хозяин,
Впряг тебя в плуг иль в соху и погнал, кнутом понукая,
После ж, до полусмерти работой тяжкой замучив,
Стал бы тебе, как скотине, совать солому иль сено,
Или, когда одряхлеешь, тебя на убой потащил бы.
Только подумай, как сладко жилось бы тебе, непутёвый,
Если б ты должен был соху волочь от зари до заката.
Благодари же творца за то, что в страдную пору

Бурый твой бык или рыжий усердно тебе пособляют,
Что с бороною идут по пашне кони покорно.

Tverk prie ragų, kišk į kulboką tinginį žalį,
Bausk jį, kad klausyt nenorės ir tau pasipriešys.
Tur klausyt, juk tam jisai tavo pašarą kramtė
Ir ištroškęs iš tavo prūdo vandenį gėrė.
Tikt saugokis, kad ne pats, be reikalo mušdams,
Su glūpais savo jaučiais į galvijį pavirsi.
Juk žinai, kaip biedžius toks už pašarą menką
Tau, kad jam grumzdi, pasilenkęs užžagrį velka;
Taip kad jam daugsyk seilėdams jo liežuvėlis
Iš karštų nasrų nei blėkas kaba nuo zūbų.

Ну же, ярмо надевай, на ленивца быка поскорее,
Плетью его подстегни, если вдруг заупрямится в поле.
Должен он слушаться, ибо твоим насытился кормом,
Жажду твоей водой утолять из пруда привык он.
Только наказывай с толком, хлестать без нужды избегая,
Или в скотину и сам превратишься мало-помалу.
Часто ведь ходит с сохою бедняга, вконец измождённый,
Ты же его понукаешь, не зная удержу в гневе,
Так что, насилу дыша, он пасть разевает широко,-
Набок свисает язык, горячей пеной покрытый.

Jautis, kaip girdi, sau vargdams pašarą pelno;
O ir tą daugsyk, kad skūpas randasi čėsas,
Su maldelėms ir kone verkdams vos išsiprašo.
Ak mano gaidūs! juk ir mums taip jau pasidaro,
Kad mes, po darbų naštoms didei prisivargę,
Kartais dėl vargų vos sausą truputį kramtom
Ir iš klano su savo jaučiais vandenį surbiam,
Kur vabalai ir varlės su pasimėgimu maudos.
Ale nebok, gaidau! neverk permier nusimindams;
Juk viens miers, kaipo savo blogą sotini skilvį,
Kad tikt dievs sveikatą mielą tau dovanoja.
Taigi nurykim jau prastoką savo kąsnelį,
Ik ruduo po tam mums duos riebiaus pasivalgyt.

Трудится вол подневольный, горбом он корм добывает,
Но в голодуху и тот частенько с жалобным стоном,
Чуть ли не плача, сенца пожевать у хозяина просит.
Милые, разве не то же случается часто и с нами,
Мы, от тяжёлых трудов на ногах держась через силу,
Чёрствые крохи едва жуем в обед или полдник,
Вместе с волами водицу мы в поле тянем из лужи,
Где копошатся козявки и где лягушкам раздолье.
Только вздыхать сокрушённо и сетовать горько не стоит, —
Разве не всё одно, чем набить голодное брюхо,
Только послал бы господь побольше здоровья и силы.
Ну, так, соседи, пока пожуём кусок незавидный, —
Осень, придёт, и тогда наедимся вкусней и сытнее.

Ant žiūrėk tiktai! veršukai jau šokinėja;
O ėryčiai su paršukais žįsdami spardos.
Vištos ant laktų jau daug iškarkino pautų;
Tikt palūkėk, margi vištyčiai tuo pasirodys:
Nes šlekutė su baltžande jau pasičypsin,
Ogi žąsyčiai iš kiaušinių veržiasi laukan.
Vei! kaip žąsins savo sulaukęs sveikina veislę
Ir besikloniodams vaikus krūvon varinėja.
Ba! mėsos visokios ir šulnų smagurėlių
Virt ir kept gardžiai jau daug visur pasidaro.

Вот наконец и телята гурьбою по лугу скачут,
Вот уж брыкаются свинки, припав к соскам материнским,
Нам уж немало яиц накудахтать куры успели,
Скоро, видать, и цыплята проклёвывать станут скорлупку.
Рябушка в лад с белозобкой уже заквохтала тихонько.

Рвутся уже из яиц гусята нетерпеливо, —
Глянь, как, в добрый час гусак дождавшись потомства,
Новорождённых своих с поклонами в кучу сгоняет.
Мяса хватит теперь, нарождается живности много, —
Будет что жарить и парить, хозяйкам работа найдётся!

Nugi dabar, kaimynai, gentys ir gaspadoriai!
Rūpinkitės akylai, kad užardami lauką,
Daug visokio sau išbertumbit vasarojo.
Juk negali maitintis vis vienais riebumynais;
Ir dailių riekelių reik, kad spirgini spirgus.
Todėl tur kiekviens, šventes pavasario švęsdams,
Kas ant čielo meto reik, taipo pasirūpint,
Kad kožna diena, nusikandus savo dalyką,
Dar ir sekančiai n'užmirštų reikalą skalsint.“

Ну, так теперь постарайтесь, соседи, люди честные,
Поле своё распахать и взрыхлить его хорошенько,
В мягкую землю бросить семян побольше добротных,
Мы ведь не можем кормиться одним лишь салом да мясом, —
Как обойдёшься без хлеба, к примеру, шкварок нажарив?
Также нам нужно, соседи, весенний праздник справляя,
Помнить о целом годе, — ведь год-то почтенное время.
Снеди на каждый день припасти нам нужно, соседи,
Чтобы лишений не знать и впредь — до осени щедрой».

„Rods, — tarė Blėkius, — ką mes pernai sau nusipelnėm
Ir zopostui savo namams kampe pakavojom,
Su žiema jau baigias ir visur išsituštin.
Vei! kaip skūnės, kur mūsų lobiai buvo sukrauti,
Nei pūstynės stov ir maisto viso neteko;
O aruodų krūvos jau taipo pasibaidė,
Kad kisielių virt ir skanų šiupinį pleškint
Nieks nesiliko, kaip tiktai skūpa mažumėlė.
Ant pašaliai visi, kur ropės irgi repukai
Su kitais viralais zopostui buvo padėti,
Taip išsituštino jau, kad mes, kasydami galvas,
Vos jau žinom, ką nusivirt ir kuom pasisotint.
Ak! jūs kumpiai, jūs dešrelės su lašinėliais,
Mes kone verkiam jau, kasdien paminėdami jūsų.“

— «Кстати, — промолвил Блекюс, — запас-то наш прошлогодний,
Всё что, летом собрав, припрятали мы по-хозяйски,
Нынче подходит к концу, да и скоро совсем подберётся.
Наши чуланы, лари от добра ломились недавно,
Ну, а теперь опустели — запасов меньше да меньше,
Да, хоть шаром покати в закромах и амбарах, соседи,
Так что на кашу, кисель, шюпинис, душистый и вкусный,
Там ничего не найдётся, — ну, разве самая малость!
В подполах и кладовых, где грудами прежде лежала
Всякая овощь: морковка, и репа, и брюква, и свёкла, —
Бедность повсюду такая, что только и чешем затылки,
Круглыми днями гадая, чем будем до лета кормиться.
Эх, кровяные колбасы, копчёное сало, ветчинка!
Чуть ли не плача, о вас мы каждый день вспоминаем».

„Tič! — tarė Pričkus jam, lietuviškai pasakydams,
Eik, žioply! Tu juk kasmets dėl ėdesių skundies.
Kas tau kalts? Kam vis, sulaukęs rudenį riebų,
Taip nesvietiškai sugramdai savo zopostą,
Kad prieš Mertyną tikt vos paršuks pasiliekti?
Čedyk, neprieteliau, kol riebų šutini puodą,
Tai tau kūdą nereiks prisikaist, kad vasara grįžta.

— «Цыц! — тогда ему Причкус сказал в сердцах по-литовски. —
Хватит ныть! Всегда кричишь об одной недостаче.
Сам же во всём виноват! Почему в богатую осень
Так бессовестно ты запасы свои поедаешь,
Что поросёнок один к Мартынову дню остаётся?

Ты бы на жирный кусок налегать старался пореже,
Постным тогда не пришлось бы весной тебе пробавляться!

Taigi nutverk iš naujo vėl dėl ėdesių darbus
Ir pelnykis ką sukriai dėl rudenio rudo.
Dirvai duok, kas reik, kad jos palūkanų nori;
Juk neprivalo jį tau duot, negavusi nieko.
Usnys, dilgėlės ir brantai su sanevadais
Auga, kaip žinai, be jokios mūsų pagalbos;
Ale grūdelis gers nesiranda, kad nepasėji.
Tu tikt vis mėsos kasdien prisiėst išsižioji,
O burokų bei lapienės niekini garbę.
Todėl tu kasmets, supliurpęs visą zopostą,
Blogs ir pusgyvis velkies į baudžiavą mielą.
Eik, žioply! eik sėt kiekvieną sėjamą daiktą.
Sėk miežius, pupas, grikus su didele sauja;
Ir avižų n'užmiršk, kad sėdams išberi grūdus:
Nes kisieliaus tu, o kuinai pašaro laukia.
Žirnių sau pasisėk zopostui didelį plotą,
Juk žinai, kaip skanūs jie, kad šiupinį valgai.
Ai! kaip daug jie mums per metą skalsina duonos.
Ir kanapėms duok ben kokį sklypgalį lauko;
Gėdėkis šykštuot! ir tokio reikalo reikia.
Ar ne gerai, kad pats sau grečną nuveji virvę,
O pinigėlį delmone kytriai pakavoji?
Sėk linų, kiek Gryta norės; minau nesivaidyk!
Juk žinai, kaip vis daugiaus nor moterų būdas,
Kad jos pradeda verpt ir jau prisiverpusios audžia.“

Вот и берись опять, если хочется есть, за работу!
Ты потрудись, и тебе воздаст обильная осень.
Полю, что нужно, дай, если хочешь с лихвой урожая,
Ведь не обязана блага земля дарить безвозмездно.
Знаешь не хуже и сам, что одни волчцы, да крапива,
Да повилика-трава не нуждаются в помощи нашей,
Хлеб же и всякая овощь родятся, когда их посеешь.
Салом да мясом одним ты всегда готов обжираться,
Не дорожишь совсем ни свёклою ты, ни капустой.
Вот потому ежегодно, к весне порастратив запасы,
Бледный и отощалый, на барщину еле плетёшься.
Сеять ступай да посей всё то, что нужно в хозяйстве,
Гречку бобы, ячмень рассыпай рукой тароватой.
И про овёс не забудь, свою засевая землицу.
Ты ведь ждёшь киселя, а кони — доброго корма.
Также смотри: отведи для гороха полоску побольше;
Знаешь ведь сам, как он вкусен, когда шюпинис ты сготовишь,
Сколько нам хлеба к тому же сберечь в году помогает.
Для конопли не мешает землицы немного оставить,
Не поскупись — пригодится в хозяйстве твоём немудрёном.
Плохо, что ли, когда совьёшь ты верёвку, приятель,
Также про чёрный день в карман деньжонки припрячешь.
Льна, сколько Грита захочет, посей; пререкаться не вздумай.
Женский обычаи таков: побольше льна подавай им.
Им бы — всё прясть да ткать в глухую зимнюю пору.

Ale nepeik, minau! permier tą moterų provą!
Ar ne smagu klausyt, kad viežlybos gaspadinės
Žiemą su mergoms vindus savo sukdamos ūžia?
Ar ne gražu žiūrėt, kad Gryta, jau prisiverpus,
Skirsto verpalus aust ir audus baltina drobes?
O paskui, kas namui reik, rokuodama rėžia,
Taip kad ir dailiems auteliams gals pasiliktų.
Ak! kad visos moters taip kytriai padarytų,
Mislyk tikt, ar būtų tiek nuogų nabagėlių?
Ak išties! mūsų būrai, nei rėdyti ponačiai,
Dar su dumčiais vokiškais susisėst užsigeistų.
Ir prancūzai juos toliaus išpeikt negalėtų.

Но не брани ты особо занятие женское это:

Разве не весело слушать зимою шум и жужжанье
Прялок, когда за работу садятся наши хозяйки?
Разве не любо смотреть, как Грита проворная пряжу
Между ткачихами делит, готовые белит холстины?
После садится она кроить, что нужно для дома,
Даже тебе на портянки обрезков пару оставит.
Ах, если б жёнушки все постараться вот так захотели.
Разве было б тогда оборванцев столько, подумай.
Ах, взаправду тогда бы по-барски наряжённый бурас
Сесть пожелал не иначе, как с немцем-сановником рядом,
И перестали б тогда его поносить и французы.

„Rods, – tarė Pričkus, – vis tiesa, kas čia pasakyta.
Aš kaip šulcas per kiemus ilgai jodinėdams,
Daug įsitėmijau, kaip daro mūs gaspadinės,
Kad žiemos čėse ką verpt krūvoms susisėda.
Juk radau gana tokių, kurios nesigėdi,
Kad joms kartais merdėdams vos sukasi vindas.
Nės, kad verpt reik, jos taip daugel pasakų vapa,
Kad jau ir ranka kuodelį pešt užsimiršta
Ir besijuokiant koja vindą sukt pasiliauja.
Taip šūtkas betaisant štai žiema pasibaigia;
Ogi pavasaris, atžengdams su vasara miela,
Atliktų žiemos darbų visur pasigenda.
Pimė rengias aust, o Jekė mest pasisiūlo.
O ką mes ar aus, kad verpt ir lenkt nenorėjo?
Taipgi namai visi paskiaus nuogi pasidaro,
Kad su buksvoms lopytoms vyrs vos užsidengia,
O vaikai ant ūlyčių nuogi bėginėja.“

Кажется, – Причкус сказал, – говорю я сущую правду.
Из года в год по дворам разъезжаю по должности шульца
И примечал не раз, как на супрядках в зимние ночи,
В тесный собравшись кружок, сидят над пряжей хозяйки.
Много видал я таких, для которых беда небольшая,
Если у них колесо всё тише и тише вертится,
Ибо чесать языки начинают по бабьей привычке.
И между тем рука теребить кудель забывает,
Ну, и опять же нога – колесо вертеть непрерывно.
А прибауткам конца нет, – ан, смотришь, зима на исходе,
Вот и весна пришла, а за ней и милое лето.
Тут, спохватясь, они за работу спешно берутся,
Пиме готовится ткать, основу закладывать – Еке.
А из чего же им ткать, если прясть и сучить не хотели?
Вот и глядишь, к весне домашние все без одежды,
Ходит хозяин в портках заплатанных, в драной рубахе,
И голышом ребятишки по улицам бегают днями.

Moters, jūs nenaudėlės! tai jums parašyta.
Bet jūs prietelkos, jūs viežlybos gaspadinės!
Jus neprivalot dėl tokių kalbų nusigėdėt.
Tos tesigėdi tikt, kurios tingėt nesigėdi.
Jums garbė, kad vindas jūsų, sukriai besisukdams,
Pakulų bei linų kuodelį nupeša greitai;
Jums garbė, kad staklės prieš pavasarį trinka
Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama tarškia;
Jums garbė, kad audeklėliai, jūsų nuausti,
Ant margų lankų kaip sniegs pavasario blizga.

Это про вас говорю я, негодницы, вас укоряю!
Вам же, хозяйки честные, помощницы верные наши,
Вам-то нет нужды стыдиться моих речей возмущённых,
Пусть их стыдятся те, кому не стыдно лениться.
Честь вам и слава, чьи прялки с жужжаньем неугомонным
Не устают ни на миг сучить добротную пряжу,
Честь вам и слава, чьи кросна гремят порой предвесенней,
Чей расторопный челнок суетится со стуком немолчным.
Честь вам и слава, подруги, чьи снегом весенним белеют,
Лёжа на пёстрой лужайке, полотна в лучах полуденных.

Ale nevenkit dar daugiaus kaip reik pasipurtint.
Ant daržų pašaliai darbelių lūkuria jūsų.
Taigi padėkit jau vindelių visą klapatą,
Ir stakles, iki vėl reikės, į pašalį kiškit!
Ogi nagan spatelius greitus bei lopetas imkit!
Vei! kaip kurmiai, šen ir ten vartydami žemę,
Jus daržovę sėt į daržą ragina bėgti.
Rods tiesa! visaip reik pilvui reikalą provyt.
Jam negana, kad tikt iš viršaus jį dabinėjam;
Bet ir iš vidaus jis nor kasdien pasilinksmint.
Todėl jums pilvai nuogi didei pasiklonios,
Kad jūsų mylista juos vėl apdengt nepatingot
Ir trinyčius naujus, buksvas bei marškinius audėt.
Bet daugių daugiaus jie garbins jūsų malonę,
Kad jie, su nauju rėdu česnyj susisėdę,
Lašinius ir dešras su jūsų viralu valgys.

Но не чурайтесь трудов потяжеле, похлопотливей,-
Вон огороды пустые скучают по вашим заботам,
Так что пока отложите свои веретёна и прялки,
Кросна пока уберите, подальше их в угол задвиньте,
Заступы, грабли хватайте, лопатами вооружайтесь.
Ишь как в размякшей земле ковыряется крот, поглядите!
Овощи сеять, сажать он и вас в огороды торопит.
Видно, нашему брюху взаправду нужно немало.
Да, не довольно ему, что снаружи его украшаем,
Брюху изо дня в день охота побаловаться.
Вам свой нижайший поклон отвесят голые брюха,
Милость ваша, хозяйки, прикрыть их теперь постаралась,
Новых много наткав армяков, порток и рубашек;
Но почитать, похвалять они вас будут всё больше,
Если, принарядившись, начнут убирать на пирушке
Ваши колбасы и сало, и разные овощи также.

Nugi dabar, ką tikt įmanot, sėkite sėklas!
Sėkite kopūstus, morkus su didele sauja;
Ropių, pastarnokų, sviklų beigi repukų;
Taip ir šalkių su gardžiais kartupelių valgiais
Sėt ir įvaisint, pridabot ir kuopt nepamirškit!
Taip besipurtindamos linksmai pavasarį baikit,
Ik jau prie kitų darbų jums vasara šūkters.
Gana.

Ну, так теперь вы посейте всё то, что можно посеять,
Вы посадите капусту, морковь и репу посейте,
Помните крепко о луке и не забывайте о свёкле,
О пастернаке, а также — картофеле, сытном и вкусном.
Сеять, полоть, поливать и окучивать в срок постарайтесь,
Дружным и спорым трудом проводив весеннюю пору,
Ждите, покудова лето к работам другим позовёт вас».

Vasaros darbai

Летние труды

„Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario šventęs;
Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasarą mielą;
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs;
Sveiks, dieve duok! sulauk dar daug pavasario švenčių
Irgi, sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink.
Taip dieve duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin
Ir lietuviškai kalbėdams baudžiavą seka.
Tam dieve duok! sulaukt kasmets pavasarį sveiką,
Ogi, pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą.“
Taip prieš Sekmines būrus į baudžiavą kviesdams
Ir, kas reik atlikt, pamokindams sveikino Pričkus.

«Здравствуй, светлый мир, ты справил праздник весенний,

Здравствуй и ты, человек, дождавшийся милого лета!
Ты на цветы любовался, вдыхал их благоуханье,-
Дай тебе бог и впредь не однажды в добром здоровье
Праздник весенний встретить, на славу повеселиться.
Каждому, кто почитает Литву, отцовскую землю,
Кто говорит по-литовски, усердно на барщину ходит,-
Благоприятной весны дай бог ежегодно дождаться.
А за весёлой весною пошли весёлое лето!»
Так перед Духовым днём, на барщину бурасов клича,
Причкус приветствовал их и напутствовал простосердечно.

Rods sveiks kūns, kurs vis šokinėdams nutveria darbus,
Yr didžiausi bei brangiausi dovana dievo.
Tas žmogus, kurs daug trūsinėjęs bei prisivargęs
Savo prastus valgius vis su pasimėgimu valgo,
O prisivalgęs ir viernai dėkavojęs dievui
Linksmas, sveiks ir drūts miegot į patalą kopa, –
Tas apgauna tą, kurs vis kasdien išsirėdęs,
Ale dūsaudams ir vis sirgdams nutveria šaukštą!
Kas iš to, kad tūls Mikols, išputusį pilvą
Svietui rodydams ir nei pūslė pasipūsdams,
Kaip koks smirdas dėl šelmystų sviete nerimsta,
Bet su Koinu kasdien dangaus išsigąsta!
Kas iš to, kad Diksas nuogs pas kupiną skrynę
Klūpodams ir vis vaitodams garbina skarbus!
O nei grašio sau, kad reik, išimti nedrįsta,
Bet nei bloznas vis nedarytą viralą srebia
Ir skarots bei pusnuogis kasdien pasirodo.

«Сила, что всякий труд играючи одолевает.
Есть величайший дар, ниспосланный господом богом,
Тот, кто, с самой зари потрудясь и тяжко намаясь,
Скромной снедью своей утоляет голод охотно,
После, небу воздав за милость благодаренье.
Весел, свеж, здоров, ложится и засыпает, –
Не превосходит ли тех, кто, с утра нарядясь, как на праздник,
Морщатся, тяжко вздыхают и еле за ложку берутся.
Что из того, что, на люди являясь, Миколас некий
Ходит брюхом вперёд, на глазах, как пузырь, раздуваясь,
Крепко скорбит о плутнях, которые видит на свете,
Сам же, как некогда Каин, страшится кары небесной,
Что из того, что, раскрыв сундук свой, доверху полный,
Диксас денно и нощно сокровища перебирает,
Сам он, глядишь, в нужде подушку вынуть боится
И постоянно, как дурень, хлебает борщ без заправки,
Ходит изо дня в день в отрепьях полуистлевших.

Mes lietuvninkai vyžoti, mes nabagėliai
Ponams ir tarnams jų rods prilygti negalim;
Bet ir poniškas ligas kentėt neprivalom.
Ak! kaip daug mieste bei dvaruose prisistena,
Kad mus atlankyt pamaži vėl vasara rengias.
Čia viens, rėkaudams durnai, su podagra piaujas;
O kits ten, kitaip dūsaudams, daktaro šaukia.
Ai! dėl ko ponus taip skaudžiai kankina ligos?
Kodėl jų taip daug pirm čėso giltinė suka?
Todėl, kad jie būriškus išjuokdami darbus
Su griekais kasdien ir vis tingėdami penis.
O štai mes, mieste per nieką laikomi būrai,
Pasukų kiek ar išrūgų skystų prisisurbę,
Vis tekini, kaip klapams reik, atliekame darbus.
O kad kartais kokį dar lašinių šmotelį
Ar dešros lietuviškos ben kiek paragaujam,
Tai dar juo dailiaus uždėts mums sekasi darbas.

Мы обутые в лапти литовцы, простонародные,
Барам, а также их слухам – совсем, конечно, не ровня, –
Не дал нам бог зато и болезней барских на долю,
Переполох какой в городах, в усадьбах господских

Нынче, как нас навестить собирается вскорости лето!
Тот, как блажной, орёт, с застарелой подагрой воюет,
Этот — зовёт лекарей, на свой манер причитает.
Ах, почему господ так страшно терзают болезни
И почему их столько до срока сходит в могилу?
Не потому ль, что они, трудом крестьянским гнушаясь,
Дни коротают в безделье, в обжорстве, в пьяных разгулах?
Мы же, кого ни во что горожане спесивые ставят,
Жидкой поев простокваши, спешим, как должно холопам,
Взяться опять за труд — и любое ладится дело;
Если ж и сала свиного кусочек перепадает
Или отведать порой колбасы доведётся литовской, —
Вдвое тогда живей и усердней наша работа!»

„Rods, — tarė Lauras, ant kumpos lazdos pasirėmęs, —
Dievui būk garbė! sveiki pavasarį baigiam
Ir visi drūti pargrįžtant vasarą matom.
Vei! kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė
Ir, aukščiaus savo žėrintį nuritusi ratą,
Ant dangaus išgaidrinto sėdėdama žaidžia.
Vei! kaip jos skaistums, kūrendams žiburį karštą,
Žemės vainikus pamaži jau pradeda vytint
Ir grožybes jų puikias su pašaru maišo.
Ak! kaip tūla mūsų žolelių taip nusirėdė,
Kad nei boba jau didei sukrošusi kumpso.
O kiek jų darže žmogaus ranka nusiskynė
Ir, grožybėms jų margoms trumpai pasidžiaugus,
Jaugi suvytusias ir nederingas išmetė laukan.

— «Кажется,— молвил Лаурас, на палку свою опираясь, —
С помощью божьей весну проводили живы — здоровы,
В добром здоровье и нынче встречаем милое лето.
Да, уж солнце теперь на подъём идти перестало
И, высоко-высоко задержав колесо огневое,
На прояснившемся небе играет, стоя недвижно.
Глянь, как его красота, разгораясь пламенем жарким,
Свежий венок земной иссушает мало-помалу,
Роскошь и яркость травы превращает в корм для скотины.
Да! уж цветочки иные настолько поблёкли, что в поле,
Сгорбясь, там и сям стоят, как дряхлые бабы.
Сколько их люди весной в садах посрывали — и тут же,
Только-только успев их красою налюбоваться,
Мяли без сожаленья и наземь бросали небрежно!

Bet taip ir paukšteliams mūs linksmiems pasidarė.
Ką gegužė pakukavo, ką lakštingala suokė
Ir ką vieversiai poroms lakstydami žaidė, —
Tai jau baigias vis ar jau visai pasiliovė.
Daug gyvų daiktų, kurie lizde prasidėjo,
Tėvą su moma prastoję penisi patys
Ir dainas savo tėvų atkartodami čypsi.
Taip trumpam čėse nei naujas sviets pasidarė.

То же, видать, случилось и с нашими пташками нынче:
Песни, что пел соловей, что нам куковала кукушка,
Игры, что жавронки в небе, четами носясь, заводили. —
Либо подходят к концу, либо всюду кончились вовсе.
Множество тварей живых, что недавно в гнёздах пищали,
Взрослыми став, теперь от отцов-матерей отделились,
Сами свой хлеб добывают, поют, как родители пели.
Времени — чуть протекло, а свет стал будто бы новым.

Tokius aš dyvus kaip sens žmogus pamatydams
Irgi dūsaudams iš širdies, tuo šūkteriu graudžiai:
Ak! tariu, kaip visai niekings mūsų veikalas amžio.
Mes silpni daiktai, kaip švents mums praneša Dovyds,
Nei žolelės ant laukų dar augdami žydim.
Kožnas viens žmogus užgimdams pumpurui lygus,
Iš kurio žiedelis jo pirmiaus išsilukštin,

Ik po tam jis, peržydėjęs ir nusirėdęs,
Užaugin vaisius ir amžį savo pabaigia.
Taip, iš viso taip, ir mums biedniems pasidaro.

Я — человек в летах, — чудес таких наглядевшись,
Чистосердечно вздохнув, восклицаю с печалью невольной:
“Ах, говорю, до чего же ничтожен век человечий!
Твари бренные, мы, как святой Давид возвестил нам,
Жизни недолгой растем и цветём, точно злаки земные.
Каждый из смертных на свет подобно почке родится
Почке, из коей цветок вылупляется спервоначалу.
Каждый в свой срок зацветёт, понемногу свежесть утратит,
Плод наконец взрастит и век тихонько окончит.
Этак со всеми бывает, — и с нами так происходит:

Mes (taip pons, kaip būrs), lopšyj verkšlendami biedžiai,
Amžio būsiančio tikt blogą pumpurą rodom.
O paskui, kad čėsas jau žydėti pareina,
Štai viens kaip ponatis poniškai šokinėdams,
O kits būriškai kaip būrvaikis bėginėdams,
Jaunas savo dienas glūpai gaišindami lošta.
Bet štai! kad ūsai pirmi jau pradeda želti,
Ir kad darbus jau sunkokus reikia nutverti,
Ai! kur dingsta glūps ir vaikiškas šokinėjims.
O kieksyk, linksmai šokinėjant ir besispardant,
Giltinė su rauplėms piktoms atšokusi smaugia
Ar su karštlige dar tikt macką pasuka biedžių.
Bet ir klapams, ir mergoms ji gatavą dalgį
Aštrina vis ir, jauno jų n'atbodama veido,
Kirsteria taip aklai, kad kasos irgi kepurės
Su grožybėmis visoms į nieką pavirsta.
Taigi matai, kaip žmogiškas trumpintelis amžis
Žydinčioms ir krintančioms prilygsta žolelėms.“

И господин и крестьянин, родясь и крича в колыбели,
Оба существ людских являют слабые почки.
После, когда цвести приходит время обоим.
В холе живущий барчук начинает резвиться по-барски,
Наш же крестьянский малыш — как пристало крестьянскому сыну.
Юные дни свои расточают они безрассудно.
Но, когда начинают у них усы пробиваться
И приспевает пора приниматься за труд повседневный,
Резвость да глупость ребячья куда, скажи, пропадают?
Сколько из году в год малолетков, бойких и шумных,
Смерть, подстерегши, вдруг удушает оспою чёрной
Или, несчастных, горячкой в могилу раннюю сводит.
Но и на парней и девок костлявая косу готовит,
Точит её, невзирая на молодость, и временами
Косит так слепо и злобно, что сотни платочков и шапок,
В полном цвету, исчезают, и больше их нет и в помине.
Тут-то и видишь воочью всю краткость дней человечьих.
Травам, что всходят и вянут, подобны воистину люди”».

Taip besipasakojant, štai vakmistras pasirodė
Ir besispardydams taip baisiai keikti pagavo, —
Kad sviets visas su visais daiktais padrebėjo.
„Kad perkūns, kad velnias!“ Ai žmogau, pasimislyk!
Kam dūksti taipo, kam keiki taip išsižojęs?
Ar tave patį jau šėtons padūkino visą?
Neprieteliau! kam plėšais taip, kas tau pasidarė?
Bet jis dar labiaus ir taip durnuoti pradėjo,
Kad visoki paukščiai po dangum nusigando.
Syveida kytra nulenkus uodegą bėgo;
O sturluks, ausis iškėlęs irgi drebėdams,
Į arčiausius krūmus vos nusikakino slėptis.
Bet ir rupuižės, ir varlės taip nusigando,
Kad jos umaru su vaikais į vandenį šoko.
Žiurkės po kraiku su pelėms irgi pelėdoms
Dėl tokių baisybių jau apalpti pradėjo;

O daug žvirblių pusgyvių nuo stogo nupuolė.
Taip, ar girdit, taip tas neprietelius prasikeikė.

Здесь-то был рассказ появленьем вахмистра прерван:
Стал он тут же ругаться, да так, что от края до края
Разом земля задрожала со всем, что на ней обитает.
«Дьяволы! Гром разрази вас!» Да ты, человече, опомнись,
Что расшумелся так? Что бранишься, рот разеваешь?
Или и впрямь в тебя вселилась нечистая сила?
Что так беснуешься? Что там с тобою, подлец, приключилось?
Но принялся тогда ругаться пуще детина…
Так наконец расходился, что птиц распугал в поднебесье.
Лиска трубу опустила, шарахнулась, вскачь полетела,
Уши поджав, наутёк пустился зайчишка трусливый,
В кустик соседний юркнул и — ни жив ни мёртв — притаился.
Даже в болотах лягушки и жабы с потомством крикливым
В воду одни за другими попрыгали, перепугавшись,
Крысы в чердачных углах, мышата, также и совы
В ужас такой пришли, что тотчас пообмирали,
И воробьёв полумёртвых попадало множество с крыши.
Вот как — слыхали! — вот как ругался начальник сердитый.

„Ak! — tarė Selmas, — jau per daug yr sviete bedievių,
Ant kurių liežuvio vis velniai šokinėja.
Tūls apjekėlis, sulaukęs rytmetį mielą,
Poterių jau nemokėdams ar skaityt nenorėdams,
Su perkūnais ir velniais iš patalo kopa.
O paskui jis, taip savo namą visą prakeikęs,
Su visais velniais šeimyną ragina dirbti.
Bet ir valgant jis paskui, taip jau savo stalą
Su tokioms žegnonėms pekliškoms įžegnojęs,
Duoną nutveria riekt, po tam ir viralą srebia.
Taip jis su velniais išauštant imasi darbus;
Taip ir temstant jau kirmyt į patalą žergia.

«Эх, — отозвался Сельмас,— как много безбожников стало,
Черти у них с языка, почитай, никогда и не сходят!
Смотришь, безумец иной, дождавшись светлого утра,
Толком не зная молитв, их вовсе читать не желая,
Чёрта на все лады поминает, слезая с постели,
Он домочадцев своих проклинает ежеминутно,
Нет на него угомона и в полдень и за полдень также:
Градом словес нечестивых трапезу благословляя,
Хлеб он берёт, и ест, и похлёбку черпает ложкой.
Так по утру, бранясь, он спешит за работу приняться,
Так с чертыханьем в постель отправляется вечером поздним.

Kad pilvots koks ponpalaikis taipo prasikeikia,
Tai jau ne dyvai, nes velniui jis pasidavęs,
Poterių gėdis ir dangaus paminėdams juokias;
Ir, kaip mūsų glūpi galvijai stipt užsigeidęs,
Kiaulėms ant garbės vis kiauliškai šūdinėja.
Bet kad būrpalaikis koksai, vos pasukas ėsdams
Ir kaip nulupts pusgyvis vargu rėplinėdams,
Su velniais kasdien savo darbą nutveria kožną,
Tai baisybė, kad jau ir plaukai pasišiaušia;
O tiktai, kaip žinom, taip kasdien pasidaro.“

Ежели барин брюхатый ругается так не пристойно,
Это не диво: знаем, что душу он дьяволу продал,
Слова святого стыдится, над царством небесным смеётся
И, в ослепленьи, решив, как скотина глупая сдохнуть,
Свиньям на радость поганит по-свински всё, что видит.
Да, но когда мужичонко сидит на одной простокваше,
Ноги еле волочит, не в силах выпрямить спину,
А, за работу берясь, усердно чертей поминает,-
Это поистине ужас, подумаешь — волосы дыбом.
Только такое теперь мы сплошь и рядом встречаем!»

Selmui taip besidyvijant, štai girgžteria durys,
Ir šaltyšius Pričkus tuo visiems pasirodė.
„Štai, – tarė jis, tuojaus skaitydams gromatą pono, –
Štai poryt mūsų pons mus bėgt į baudžiavą siunčia
Ir iš staldų jo išgramdyt mėžinį liepia.
Todėl jau vežimus kaip reik taisykite kožnas
Ir su šakėms bei kabliais atbėkite greitai.
Žinot juk visi, kas mėžiant puolasi būrams,
Ir kiekviens numanai savo murgą jau primatuotą.
Aš, kad dievs laikys, tarp jūsų mudriai makaluodams,
Ne tiktai, kad mėšit, jus viernai pridabosiu,
Bet ir iš širdies, kad gramdyt reiks, pamokinsiu.“
Taip ištaręs, jis kūliais pro duris iššoko
Ir, ant kumelio ketvergio tuojaus užsimetęs,
Skubinos ir kitiems kaimynams urdelį rodyt.

Так рассуждая, Сельмас дивился и сокрушался.
Вдруг заскрипела дверь, и Причкус встал на пороге.
«Вот,– произнёс он, – сейчас прислал мне грамотку барин.
Пишет наш господин: послезавтра на барщину выйти,
Время пришло вывозить навоз из хлевов и конюшен.
Значит, в добрый час – телеги наладьте, соседи,
Вилы да крючья берите, – да только минутки не мешкать!
Вам-то, соседи честные, известно, как браться за дело,
Верно, любой из вас уж прикинул, где будет работать,
Я, если бог сохранит, ни на шаг от вас не отстану,
Я за работою вашей не только присматривать буду,
Но и от всей души подучу, как только сумею».
Всё по порядку сказав, из избы он выскочил мигом,
Он во дворе на коня четырехгодовалого вспрыгнул
И поскакал, спеша и других известить о приказе.

O kaip jau diena pasakyta buvo prašvitus,
Štai baudžiauninkai visi pulkais susirinko.
Viens savo kablį, o kitsai naujintelę šakę
Nešdams ir besiskubindams tikt bėga, tikt bėga.
Albas, šūdleteres naujas tyčioms pasidaręs,
O Merčiuks, ratelius taip jau naujus užsimovęs,
Su kitais baudžiauninkais į baudžiavą tarškė;
O bernai visi, naujas vyžas nusipynę
Ir autus naujus iš drobės sau pasidarę,
Vis tekini, kits kitą neigi pranokdami šoko.
Tai išties dyvai, nės taip nedarydavo būrai.
Sako juk visur, kad būrs į baudžiavą slenka
Ir kad kartais su piktu jį reikia pajudint,
Kad, kaip puolas jam, jis žengt ir dirbt užsigeistų.

Только урочный день подошёл, на самом рассвете
Стали, спеша отовсюду, сходиться бурасов толпы,
Этот – с крюком на плече, тот – вилы новые вскинув,
К барской усадьбе крестьяне бежали,– так и бежали.
Альбас к навозной телеге приделал новые грядки,
Загодя также поставил колёса новые Мерчис
И меж соседей своих покатил но тряской дороге.
А батраки молодые обули новые лапти,
Новые, словно на праздник, онучи понадевали
И вереницей шумливой на барщину взапуски мчались.
Подлинно чудо случилось – такого ещё не бывало:
Ведь говорят, что с ленцою на барщину бурасы ходят,
Дескать, их нужно почаще подстёгивать криком да бранью,
Чтобы внушить наконец им охоту работать живее.

Ale ką mačija? čia mums nereik nusidyvit.
Amtsrots valsčiaus to, kursai tą baudžiavą valdė,
Toks širdings buvo pons, kad kožnas, jo paminėdams,
Dar vis verkia: nės jisai jau numirė pernai.
Ak! išties ir verts, kad jo kasdien paminėtų
Ir kad jo vaikų vaikai paminėdami verktų.
Tai buvo pons! ak tokį vos vėl rasime sviete!

Mislyk tikt, gaidau! kaip jis mylėdavo žmones;
Ir dėl ko jį vėl visi mylėdavo būrai.
Daug yr ponpalaikių, kurie, pamatydami būrą,
Spiaudo nei ant šuns ir jį per drimelį laiko;
Lygiai kad žmogutis toks neverts pažiūrėti.
Ale nabašninks amstrots taip nedarydavo būrui;
Bet visur aštriai kaip tėvs užstodavo biedžių.
Keikesčių niekados iš jo burnos nesulaukėm;
Ir kad kuočės jis būrus išgirsdavo keikiant,
Tai tuo tėviškai jis juos mokėdavo koliot.
Jis nesakydavo „tu“, bet vis pasakydavo „jūsų“;
Ir iškoliodams jis vis ištardavo „jūsų“:
Nės tikt vokiškai jisai mokėdavo koliot.
O kad kartais šį ar tą reikėdavo garbint,
Tai jis tam lietuviškai padarydavo garbę.

Что ж там за чудо случилось? — Да нечему тут удивляться.
Даже младенцу известно, что был той волости амтсрат.
Барин хороший, негордый, и люди о нём и поныне
Горькими плачут слезами: ведь год сравнялся, как помер.
Ах, он достоин того, чтоб его вспоминали вседневно,
Чтобы и дети и внуки о нём, как мы, горевали!
Вот уж был барин так барин! Такого уж больше не сыщем!
Только подумай, как нас жалел он чистосердечно,
И потому об умершем горюют бурасы крепко.
Много на свете господ, что плюют на нашего брата
Как на паршивого пса, его остолопом считают,
Даже порой не желают и взглядом его удостоить.
Амтсрат покойный — наш барин — не так с людьми обходился,
Но горячо, по-отцовски за них заступался повсюду.
Бранного слова мы тоже вовек от него не слыхали, —
Если ж бывало, услышит, как бурасы наши бранятся,
Тотчас же их позовёт, по-отцовски строго наставит.
«Ты» говорить избегал он, ко всем на «вы» обращался.
Даже кого распекает, сказать ему «вы» не забудет,
Лишь на немецком наречьи умел покойник ругаться;
Если ж кого из нас отблагодарить надлежало,
Он заслужившего тут же хвалил всегда по-литовски.

Ale dabok, brolau! aš tau daugiaus pasakysiu.
Tu su manim žinai, kaip būrą baudžiava baudžia,
Ir kaip biedžius toks, kasdien kantriai pasilenkęs,
Po baisioms vargų naštoms vos gal atsidvėsti.
Ak, kas gal visokias mūsų bėdas surokuoti!
Vasara, juk žinai, kasmets tikt vos pasirodo,
Štai kiekviens žioplys jau būrą pradeda stumdyt.
Kaspars, ant galvos iškėlęs skiauturę riebią,
Kaip gaidys vištas guiniodams, gandina žmones;
Ale jo tarnas Diksas dar baisiaus pasipurtin,
Kad jis, kardpalaikį nei pons prie šalies prikabinęs,
Tarp baudžiauninkų mudraudams rėkti pagauna;
Nės jis vis kytriaus už poną nor padaryti
Ir aukščiaus už jį, tikt mislyk, veržiasi sėstis.
Ar tai švankus darbs, ar reik taip viešpatį niekint?
O kad bloznas toks savo ponui taip išsišiepia,
Ar dyvai, kad būrą jis jau visą suėda?

Но — погоди, погоди — и не то, приятель, скажу я:
Мы-то ведь знаем небось, как на барщине мается бурас,
Знаем, как, день-деньской терпеливо спину сгибая,
Тяжкое бремя трудов, надрываясь, тащит бедняга.
Эх никому до конца не исчислить бедствий крестьянских!
Из году в год, едва за весной начинается лето,
Гнать-понукать крестьян принимается каждый бездельник.
Каспарас, жирный загривок топорща, как кочет свой гребень,
Словно на кур, наседает на бурасов с бранью свирепой.
Но беспощадней народ донимает слуга его Диксас,
Сабельку на бок повесив, он ходит, как барин заправский,
Бойко на бурасов наших покрикивать не уставая;

Хочет он быть во всём похитрей своего господина.
Метит он — только подумай! — на барское место и выше.
Разве пристало слуге ни во что хозяина ставить?
Если такой болван измываться над барином смеет,
Диво ль, что нас, беззащитных, совсем уж ест поедом он.

Juk žinai, brolau, koktu, kad svilina saulė
Ir kad, prakaitui srovėms per nugarą teškant,
Jau ir blogs skilvys dėl pietų pradeda skųstis;
Rods ir jam perlenkio reik kasdien pasitiešyt.
Ale kuomi gal biednas būrs savo vėdarą linksmint,
Kad jam plutos tikt ir kėžas vos pasiliko.
Taip vargingai jis, savo sausą truputį kramtęs
Ir ištroškęs, jau malkelio gert užsigeidžia.
O ką gers, kad skinkio jam nei viens nepasiūlo?
Taip jis iš bėdos, pas klaną kokį nušokęs,
Ištisas ir didei dūsaudams vandenį laka,
Kur vabalai visoki su varlėms šokinėja;
O štai Diksas su lazda dar muša nabagą.

Знаешь ведь, брат, каково в жару полдневную в поле:
Гнёшься, а пот ручьём по спине натруженной льётся.
Тут и проклятое брюхо, глядишь, докучать начинает, —
Нужно, конечно, и брюхо потешить хоть чем-нибудь людям.
Чем же утробу свою потешит нищий крестьянин,
Если в его узелке лишь корки да сыр пересохший?
Сядет, измаясь вконец, погрызет он чёрствую корку,
После почувствует жажду, опять же — залить её нечем:
Пива иль квасу никто не предложит ему в угощенье.
Вот и бежит он с горя к зацветшей луже напиться,
Лёжа ничком, задыхаясь, глотает мутную воду,
Где шевелятся жуки, где скачут лягушки и жабы;
И в довершение Диксас колотит палкой беднягу.

Ak, pon amtsrot, ak! dėl ko mums numirei pernai?
Ak, su tavim jau ir linksmybės mūsų prapuolė!
Ak tėtuti! tavęs kasdien kiekviens paminėdams
Ir dūsaudams, taip nesvietiškai nusiverkia,
Kad ir akys jau keliems išpūti pradėjo;
O kiti dėl to, veik proto viso netekę,
Baudžiavą, kaip jiems reik, atlikt jau nedera biedžiai.
Rods ir tu, baudžiauninkus į baudžiavą guidams,
Ne tingėt, bet dirbt liepei, kaip puolasi būrams:
Nėsa karališkas provas ir visą rabatą
Kožnas tur, kaip tarnui reik, viernai pasisavint.
Ale nesvietiškai būrus įžeist negalėjai.
Ak! kieksyk tu verkdams mūsų bėdas pažiūrėjai;
Ir, kad Diksas mus per daug užnikdavo dovyt,
Tu kaip tėvs meilings užstot mokėdavai žmones.
Ypačiai kad javelius nuvalyt prisiartino čėsas,
Ir laukų darbai mus į laukus suvadino,
Štai tavo rūpesčiu tuojaus išbusdavo kožnas;
Taip kad kartais per naktis miegot negalėjai
Ir daugsyk sapnuodams mūsų bėdų paminėjai.
Taip besirūpindams visokio gėrimo grečno,
Puspyvės ir skinkio daug liepei padaryti;
Ir, kad mes apalpę bei vaitodami dirbom,
Tuo tavo tarnas mus gaivint atveždavo bačką.
Ak pon amtsrot miels! dėl ko mums numirei pernai?

Ах, господин наш амтсрат, зачем ты осиротил нас?
Ах, навсегда с тобой отошли и радости наши!
Ах, наш отец родной, о тебе любой, вспоминая,
Плачет изо дня в день, утешиться в скорби не может,
Так что глаза у иных разъели горькие слёзы.
С горя-печали другие почти что рассудка лишились. —
Барщину как подобает справлять уж больше не в силах.
Правда, на барщину также людей ты гнал с повеленьем
Времени зря не терять, а трудиться, как бурасам должно,

Ибо указ короля и работу тяжкую эту
Каждый из нас выполнять обязан как подданный верный.
Но никого из нас сверх меры ты не обидел.
Эх, сколько раз со слезами глядел ты на бедствия наши!
Помним: когда временами расходится Диксас, бывало,
Ты за людей спешил заступиться, и особливо
В дни, как хлеба косить, убирать пора подоспеет
И на работу, в поля, сгонять крестьян начинают, —
Каждого ты опекал, о каждом заботился крепко,
Ни на мгновенье часто заснуть не мог ты ночами,
Наши мытарства тебе в сновиденьях не раз представали,
Вот и в заботе усердной наказывал ты постоянно
Заготовлять в изобильи полпива и браги крестьянской.
В полдень, когда, обессилев, со стоном работали люди,
Бочку питья ледяного слуга твой всегда привозил им.
Ах, господин наш, зачем же в минувшем году отошёл ты!

„Stui, – tarė Prickus, – jau ben sykį paliaukite zaunyt
Ir ben gėdėkitės tokio netikusio būdo.
Kas jau bus iš jūs, kad vis raudodami kauksit;
O paskui akli bei proto viso netekę
Nei vaikus augint, nei darbus dirbt negalėsit.
Rods tiesa, pons amtsrots mūsų nabašninkėlis,
Sveiks dar irgi pačioj drūtumoj nuoglai pasidėdams,
Ašarų mums per daug ir raudą didę padarė.
Juk ir aš kelias naktis miegot negalėjau
Ir daug ašarų rietančių nei košte pakošiau.
Ei kieksyk! deivių baukštints iš patalo šokau,
Kad man jos tamsoj su ragais margais pasirodė
Irgi praryt mano dūšią vis į patalą siekė;
Todėl iš bėdos nusipirkęs didelę pūčką
Irgi paprovijęs ją po galvų pasidėjau.
Štai! po tam mane jau daugiaus negandino deivės,
Ir aš naktyj rėkaut ir durnuot pasilioviau.

«Хватит, – вымолвил Причкус, – завыли, запричитали!
Вы бы хоть чуть постыдились, – ведь нюни-то как распустили!
Люди, подумайте только о том, что станется с вами,
Если решитесь ума иль от слёз ослепнете вовсе –
И ни детей растить, ни работать не сможете толком.
Я-то не спорю – конечно, наш барин, амтсрат покойный,
В цвете здоровья и сил свалясь и скончавшись внезапно,
Нас опечалил безмерно, лить слёзы обильно заставил.
Много ночей и сам не смыкал я глаз до рассвета,
Слёзы ручьями лил о покойном амтсрате нашем.
Ах, не однажды, соседи, с постели я вскакивал в страхе,
Чудились мне впотьмах круторогие пёстрые черти.
Лезли они на постель по мою многогрешную душу.
Я, поразмыслив, тогда пистолет купил длинноствольный,
На ночь, его зарядив, положил у себя в изголовье.
С той поры от меня отвязалась нечистая сила, –
Вскакивать ночью с постели и сдуру кричать перестал я.

Jau dyvus varlių bei pelių irgi pelėdų
Su naujienoms žiurkių bei nuplikusių žvirbliu
Ir kas dar daugiaus tokių dyvų pasidarė –
Vislab ant laktos, kur vištos tupi, padėję,
Skubinkimės pirmiaus iš staldų mėžinį kraustyt,
O paskui, kas dar daugiaus tokių dovanėlių
Ten ar čia bus sudrėbta, viernai pavalykim.
Kam juokies, žioply! girdėdams mandagų žodį?

Так что довольно побасок про сов, мышей да лягушек,
О воробьях пооблезших и крысах болтать перестанем,
Что же до прочих чудес, то не время ли тоже, соседи,
Их без различья все закинуть на курьи насесты!
Прежде всего из конюшен навозные выгребем кучи,
Если же после найдётся добра такого побольше –
Мы и его до конца с великой радостно примем!

Что усмехнулся, разиня, услышав дельное слово?

Ar nežinai, kad būrs nor grečną grūdą sulaukti,
Tai pirm to jisai tur grečną šūdą pakrėsti?
Puodui juk kasdien, kad kokį viralą verdi,
Druskos ne tiktai, bet dar ir uždaro reikia.
Kam nesisūdęs ir n'užsidaręs nesrebi sriubą;
O tu dar juokies, kad klapai mėžinį rauso
Ir pardovytoms dirvelėms uždarą taiso?
Taigi nutverk rykus, kurie tam yr padaryti,
O mėžk greitai ir linksmai pakvipusį skarbą!
Iš menkų daiktų daugsyk dyvai pasidaro;
O iš mėšlo smirdinčio žegnonė pareina.

Если хороших хлебов дождаться хочет крестьянин,
Надо спервоначалу в навозце ему покопаться, –
Знаешь небось – для похлёбки любой, какую ни сваришь,
Соли одной маловато: выходит – нужна и заправка.
Ведь, не заправив, и сам борща хлебать ты не станешь.
Нечего, значит, смеяться, что роется бурас в навозе, –
Он для земли истощённой приправу трудом добывает!
Ну-ка, детина, берись поскорей за крюк да за вилы
И становись, и добро пахучее выгреби живо.
Часто, соседи, из вещи ничтожной рождается чудо –
Этот смердящий навоз благодати великой исполнен!

Tūls nusvilęs ponpalaikis rods juokiasi būrams
Ir besišypsodams jų darbus niekina bloznas,
Lygiai kad toksai.be būrų gal įsiremti
Irgi be mėšlo jų pyragais gal pasivalgyt.
Ak! kur dingtų ponai, kad jie būro netektų
Ir kad biedžius toks su šūdais jiems nepadėtų.
Taigi nebokite, klapai! kad, išmėždami šūdus,
Kartais dėl visokių kvapų turite čiaudyt
Ir kad jūs stalde daugsyk klampodami stenat.
Rods darbelio jūsų ponačių lepusi nosis
Baidos ir vis poniškai užkumpusi juokias;
Ale dabok tiktai, kaip veikiai ji nusilenktų,
Kad barščius nedarytus ir prisvilusią gručę
Taip, kaip biedžiai mes, kasdien į vėdarą kištų
Ir su mumis drauge prisivargt į baudžiavą suktųs.“

Барин иной захудалый смеётся над нами, конечно,
Нас он хулит, измываясь, наш труд презирает глубоко,
Будто бы фертом ходить этот умник без бурасов мог бы,
Будто бы мог без навоза живот набивать пирогами.
Что бы поделали баре одни, без крестьян, – да, к примеру,
Ели б навоз не возили они для их урожая.
Значит, соседи честные, не очень-то сильно смущайтесь,
Если приходится часто чихать из-за едкого духа,
Тяжко кряхтеть, стонать, меся навоз перепрелый.
Холёным барским носам отвращенье, конечно, внушает
Труд наш; над нами кругом барчуки глумятся и, скалясь,
Морщат носы; но они б их, конечно, повесили быстро,
Если бы им довелось пробавляться щами пустыми
И пригоревшею кашей, как нам приходится часто,
Ну и до пота седьмого на барщине с нами мотаться!»

Pričkau! ką kalbi? ar ponams taip pasakysi?
Ar nežinai, kad būrs, iš tolo poną pamatęs,
Tur kepurę nuvožt ir poniškai pasikloniot?
O tu dar drįsti jiems taip durnai pasitursint?
Ar nebijais, kad jie dėl to tau sprandą nusuktų
Argi nutvėrę prie plaukų stalde pakabintų?
Sviete rods visur randi netikusį žioplį.
Jis nekyšo tikt vis po surukusia skranda;
Bet ir po šilkais daugsyk jis juokiasi glūpas.
Taigi nedyvykis, kad kartais drimelį puikų
Zaunijant girdi. Jis taip glūpai nedarytų,

Kad jo tėvs jį būt mūsų darbus dirbt pamokinęs.

Причкус, что говоришь? Разве барам такое сболтнул бы?
Или забыл ты, что бурас, завидя барина, должен
Шапку немедля ломать и поклон отвешивать низкий?
Как же ты смеешь корить их ещё и словами такими?
Иль не боишься, что баре тебе за подобные речи
Шею свернут или потащат за волосы в хлев да повесят?
Вправду, кажись, ротозеев на свете белом изрядно;
Да не одних лишь носящих зипун иль кожух заскорузлый, —
Много, поди, и в шелках зубоскалов глупых встречаем;
Стало быть, брат, не дивись бездельникам щеголеватым,
Мелющим вздор. Они разумней были б, когда бы
Их приучили отцы к работе нашей крестьянской.

Jaugi gana šiamsyk stalde pas mėžinį šūtyt;
Dar ir pievoms reiks, ir dirvoms ką pasakyti.
Vaikai, skubinkitės, ant vakars jau prisiartin;
O rytoj reikės pamaži dalgius pasiprovyt.
Ar negirdit, kaip šienaut jau putpela šaukia
Ir, kas žiemai reiks, sukraut į kupetą liepia?
Ak ir čėsas bus; Joninių didelę šventę,
Kaip kiekviens žinai, poryt viešėdami švęsim;
O n'ilgai po to laukų trūsus nusitversim.
„Ak! — tarė Krizas, — rods dar daug mums reiks pasipurtint,
Ik visur savo būrišķus atliksime darbus.
Ale, žėlėk dieve, kaip gal vargings gaspadorius
Iš bėdos išsirist, kad jam šeimyna neklauso.
Aš, girdėk, brolau! šią kiaušę žilą sulaukęs
Irgi nemaž ant svieto šiaip ir taip prisibandęs,
Daug dyvų ir daug naujienų tau pasakysiu.
Tėvs mano Krizas numirdams mane mažą paliko;
O našlė moma maitintis ubagais ėjo;
Todėl iš bėdos man, vargstančiam nabagėliui,
Slūžyt ir kiaules varinėt pas Bleberį teko.
Taip aš, valandą viernai jo kaimenę ganęs
Ir dėl smarvių bei biaurybių daug prisivargęs,
Jau po tam akėt ir žagrę sekt panorėjau.
Nės aš jau kaip glūpas vaiks daug razumo rodžiau,
O kaip pusbernis ne vieną žilį pranokau;
Todėl padarynes visokias vos pažiūrėjau,
Štai jau, mislyk tikt, jas taip išdrožti mokėjau,
Kad tūls bernas sens dėl to didei nusigando
Ir besigėdėdams saugojos man pasirodyt.

Хватят на этот раз за работой в конюшне судачить!
Нам-то ведь с лугом да с нивой ещё побеседовать нужно.
Поторопитесь, ребята, уж поздно — вечер подходит,
Завтра, встав чуть свет, начнём натачивать косы.
Разве не слышите вы, что зовёт уж давно перепёлка
Сено косить да копнить про запас к зиме предстоящей?
Жаркое время настанет! Иванов день послезавтра.
Праздник великий ждём — на нём погуляем честь-честью,
А погуляв, на работу отправимся вскорости дружно.
«То-то же,— вымолвил Кризас,— кажись, придётся порядком
Нам попотеть, покамест работы крестьянские кончим.
Господи боже, как быть в беде хозяину, если
От батраков никакого ему почтения нету?
Я до седых волос, как видишь, дожил, приятель,
Много чего повидал, и хлебнул я горя немало.
Уйму всяких чудес рассказать могу в поученье.
Кризас, мой батюшка, помер, меня малолетком оставив,
Погоревала мать да пошла по дворам побираться, —
Тут-то пришлось и мне, сироте, с нужды-голодухи,
В люди пойти: просить, чтобы Блеберис взял в свинопасы.
Спервоначалу, мальчишкой, стерёг я стадо усердно,
Грязи да скверности всякой довольно пришлось повидать мне,
После того захотел походить за сохой-бороною.
Был я, по правде сказать, ребёнок сметливый, бойкий,

Ну а подростком не раз стариков оставлял за собою:
Стоило мне чуть-чуть к ремеслу приглядеться любому,
Как мастерить научался — выказывал хватку такую,
Что пареньки иные, постарше меня и покрепче,
Передо мною робели, боялись вконец осрамиться.

Rods negražu žiliems bernams ir didelė gėda,
Kad juos koks bernuks glūpoks apgėdina dirbdams;
O štai dar algos tokie daug dolerių tyko
Ir vis pasėlio daugiaus išveržt nesigėdi.
Ak! kur dingo Prūsuose barzdota gadynė,
Kaip slūžauninks dar už menką pinigą klausė.

Правда, приятель, неладно, когда батраков поседелых
Глупый мальчишка заткнуть в работе за пояс может.
А до уплаты дойдёт — подавай им талеров кучу,
Также полоску побольше они вымогать не стыдятся;
Где же, где же теперь старина бородатая наша —
Время, когда батраки и за малую плату старались!

Aš, dar vaikpalaikiu glūpu pas Bleberį būdams,
Daugsyk dyvijaus, kad koks turtings gaspadorius,
Su bernais kasmets suderėdams, dolerį siūlė;
O bernai dar gyrės, kad koksai geradėjas
Kartais iš tikros širdies šeštoką pridėjo;
O kad kelnes jiems ir dvi vyži pažadėjo,
Štai jie dar už garbę tą didei dėkavojo.
Bet kaip sviets po tam didžiuotis jau prasimanė
Ir lietuvninkai su vokiečiais susimaišė,
Štai ir viežlybums tuojaus į nieką pavirto;
Taip kad klapai vyžų, viežlybai padarytų,
O mergaitės krosytų marginių nekenčia.
Klapai kaip ponačiai su puikiais sopagačiais,
O nenaudėlės mergaitės su kedelačiais,
Lyg kaip jumprovos pasirodyt jau nesigėdi.
Taip lietuvninkai savo viežlybumą pražaidė.

Помнится, глупым мальчишкой я попросту диву давался,
Видя не раз, как рядятся хозяин иной с батраками,
Он за работу, глядишь, назначает какой-нибудь талер,
А батраки-то ещё и хвастают, если, расщедрясь,
Он за усердье изволит накинуть монетку-другую.
Если ж портки или пару лаптей посулит он от сердца,
Тут — за великую честь — благодарности вовсе конца нет.
Только с тех пор совсем свет белый переменился,
Да, с тех пор как литовцы с немчинами перемешались,
Бог весть куда занесло литовскую благопристойность,
Парни теперь и взглянуть не хотят на добротные лапти,
Девушки нос воротят от крашеных тканей домашних, —
Смотришь, хват иной щеголяет в сапожках, как барич,
Смотришь, и в праздник и в будни негодницы — девушки наши
Ходят, корсетки надев, наподобье барышень-немок.
Благопристойность былую литовцы навек потеряли.

Bet ir mūs valgius, lietuviškai padarytus,
Tūls išdykėlis nenauds išpeikt nesibijo.
Tėvai mūs kytri, kisielių virdami skanų
Ir su pienu jį šeimynai duodami valgyt,
Didelį savo namams visiems padarydavo džiaugsmą.
O kad šiupinį kartais jiems išvirdavo tirštą
Ir lašinių kokį šmotelį duodavo priedams,
Ak! kaip girdavo sotinti bernai gaspadorių.
Ogi dabar kasdien kiekviens, mėsos išsižiodams
Ir daugsyk kaip šuo išplėšdams, vargina būrą.

Взять хоть бы кушанья наши — так тоже только и слышишь,
Как их теперь бранит без зазренья совести всякий.
Мудрые прадеды наши кисель сготовят, бывало,
Сдобрят его молоком да на стол поставят, и этим

Радость большую всегда доставляют своим домочадцам,
Если ж, бывало, для них шюпиниса наварят крутого,
Да и вдобавок его подзаправят ломтиком сала,
Ах, как хвалили хозяев, насытясь, слуги честные!
Нынче ж изволь батраку подавать мясца, да побольше,-
Он на хозяев несчастных кидается, будто собака.

Tikt girdėk, brolau! kaip man biednam pasidarė.
Aš, kone penkiasdešimts metų šį savo namą
Viežlybai valdydams ir niekados nepateikdams,
Ponams taip, kaip būrams, vis įtikti mokėjau;
Tikt šeimynai ant garbės padaryt negalėjau.
Man šykštums klasta, kad šutinu didelį puodą;
O kad reik padalyt, šmotus vis kyšteriu riebius.
Todėl vos dyvai, kad kartais mezliavą mielą
Užmokėt n'įmanau ir amtmons išbara visą
Ar nesvietiškai supykęs muša per ausį;
O štai man daugsyk dėl čyžės taip pasidarė.

Кстати, послушай, брат, что со мною нынче творится:
Чуть не полвека владея своим хозяйством и домой,
Слыл я хозяином справным, безделья сроду не знаю,
Барам умел угождать и соседям, бурасам тоже.
Лишь батраков своих ублаготворить не могу я:
Ест за двоих любой, а меня — скупердяем считают,
Хоть постоянно стараюсь кормить их сытно и вкусно.
Диво ли в том, что порой внести мне попросту нечем
Подать, любезную в срок и крепко ругается амтман
Или, вконец рассерчав, заезжает в ухо да в зубы.
Этак, брат, не раз попадать впросак приходилось.

Bet ak! kaipgi galiu mokėt, kas reik, savo ponams,
Kad nelaba šeimyna jau mane visą suėdė?
Ak! man biedžiui jau beveik reiks ubagais eiti.
Karvių bei avių, bei jaučių didelį pulką,
O ir kiaulių bei ožkų taip daug mėsinėjau,
Kad jau vos žinojau, kur skūras pakabinti.
Tikt užvakar dar priėsdint pamušiau bulių,
Nuo kurio ik dienai šiai (tikt gėda sakyti)
Vosgi ragai su kaulais ir skūra pasiliko.
O štai, vemdami dar, veršienos jau prasimanė
Ir didei mane gvoltija, kad aš paskutinį
Ir vienturtį veršį jiems mėsinėt pažadėčiau.

Сам посуди — могу ль господам уплачивать в срок я,
Ежели так батраки безбожно меня объедают?
По миру скоро пойти из-за них, как видно, придётся!
Столько быков, да коров, да свиней, да коз, да овечек
Я для разбойников этих порезал на мясо, что, право,
Шкуры вешать куда — и сам, наконец, я не знаю.
Третьего дня на убой быка отвёл я, опять же
Давеча — братец ты мой, говорить даже совестно — глянул:
Кости, рога да кожа едва от него уцелели!
Стало мутить их, а всё ж о телятине речи заводят,
К горлу с ножом пристают, чтобы я уж вконец разорился,
Им на потребу зарезав бычка последнего. Вот как!

Bet ir dėl algos taip jau kasmets pasidaro.
Kartais vaikpalaikis buksvas vos moka nešioti
Ir daugsyk nesigėdėdams (meldžiu, nepadyvyk)
Kaip biaurėstis koks kasnakts į patalą meža
Ir kiaules penkias kaip reik negal paganyti;
O štai ir toksai utėlius dolerių tyko,
Kad jį kartais šūtydams samdyti pradėsi.
O ir tarp bernų taip jau tūls valkata randas,
Kurs akėčias ir kas žagrei reik nepažįsta
Ir prie ragų kumpų nutvert margiuką nedrįsta.
O kad mūdraudams koks bulius pradeda baubti,
Tuo taipo nusigąsta, kad jo padreba kiškos;

O štai toks žioplys, daugsyk didei pasipūtęs
Ir savo darbus bei nešvankų madarą girdams,
Raukos dar, kad jam algos, kiek nor, nežadėjai.
Tikt bandyk ir siūlyk jam, kepurę nuėmęs,
Siūlyk jam dosniai ant meto dolerių dešimt,
O paskui girdėk, kaip bloznas toks įsirėmęs
Dar ir pasėlio brangaus išveržt nesigėdės.

С платою точно такие ж дела ежегодно творятся:
Смотришь, мальчишка сопливый, портки надевший недавно
И, говоря по душам, не видящий срама большого
В том, чтобы из ночи в ночь под себя мочиться исправно,
Чушек несчастных пяток не умеющий на поле выгнать,
Даже и тот не прочь содрать с хозяев побольше,
Если его в услуженье, потехи ради, берёшь ты.
Меж батраками нередко встречаем шваль и такую,
Что не управится толком с сохою иль с бороною
И ухватить вола за рог кривой не решится.
Если ж порой, расшалясь на лугу, бугай разревётся,
В дрожь их бросает, поджилки трясутся у них от испуга.
Но и такой вот разиня ещё и спесивится часто,
С наглою рожей работу свою никудышную хвалит,
Морщится, если ему не заплатишь, сколько запросит.
Ты подойди к такому, да шапку сними, да попробуй
Талеров десять в год посулить от щедрого сердца,-
Вот и услышишь, приятель, как этот сопляк, подбоченясь,
Станет ещё у тебя вымогать и полоску получше.

Bet, kad dirbt ką reik, visur dyvai pasidaro.
Vagys vos mėsos grečnos gardžiai prisiėdė
Ir saldžių koštuvių vos dosniai prisigėrė,
Štai jau vieną ten, o kitą ten pamatysi
Kniūpsčius už tvoros ar po pašiūre betimsant.
Kartais neprieteliai taipo pasislėpti numano,
Kad visur ieškodams juos atrast negalėsi.
Šauk tikt, kiek įmanai, ir trūbyk didelį garsą:
Ans, Jokūb, Ensky! kur bastotės prisiėdę?
Štai jau vakars bus, o nieko dar nepradėjot.
Ant jau visas sviets kaip skruzdėlyns susirinko,
Ir kiekviens atlikt, kas reik, tikt bėga, tikt bėga;
O jūs, neprieteliai, vis tikt kirmyt pasileidot?
Kas jau bus iš mūs, kad taip gyvent nesiliausim?
Ale nelauk, kad jie kampe, girdėdami balsą,
Tuo kaip reikia pašoks ar veik atsilieps gaspadoriui.
Ak! nemislyk taip! kampe dar juokiasi smirdai;
Ar, kad jiems vertai grumzdi, vis keikdami baras.
O dar to negana; bet jau ir mušt pasikėso.
Juk žinai, brolau! kaip pernai valkata Slunkius,
Jomarke brangvyno stuopą visą nurijęs,
Man iš papykio kone visą nupešė kiaušę.
O paskui razbaininks tas, beržinį nutvėręs,
Su kitais draugais pasiritę nugarą skalbė,
Taip kad man kelias nedėlias sirgti reikėjo.
Tai margi daiktai! kad jau plaukai pasišiaušia.“

Если же дело дойдёт до работы — диву даёшься:
Вдосталь эти ворюги нажрутся вкусного мяса,
Сладким пивом и квасом по самое горло нальются;
Смотришь — там и сям, у забора иль под навесом.
Все батраки твои лежат ничком, растянувшись,
А иногда, злодеи, запрячутся так, что в помине
Будто бы не было их, провалились будто сквозь землю, —
Бегай кругом да кричи, надорвись хоть вовсе от крика:
«Йонас, Ийокубас, Энскис, отзовитесь, куда вы пропали?
Вечер уже на носу, а у вас работа — ни с места!
Как муравейник, давно весь мир честной копошится —
Каждый лезет из кожи, спешит исполнить что нужно, —
Вы ж как ни в чём не бывало храпите спьяну да сыту;
Проку не будет от вас, коль не бросите эти замашки».

Только не жди, что, заслышав хозяйский зов издалёка,
Вскочат они и на крик немедля хором ответят.
Нет, и не думай о том: зубоскалить примутся, шельмы!
Станешь ругать поделом их — в ответ проклятья услышишь.
Мало того: на тебя с кулаками кидаются даже,
Сам ведь знаешь, брат, что Слункюс летом минувшим
Водки вытянул штоф на ярмарке и собирался
Голову мне дрючком проломить под пьяную руку.
После этот буян, дружков призвав на подмогу,
Немилосердно меня по спине и бокам отдубасил,
Много недель проваляться пришлось, пока отходили.
Видишь — дела-то какие творятся, страсть да и только!»

Krizui taip besiskundžiant, štai pulkai susibėgo,
Ir visur rėksmai „šok, kirsk, grėbk, krauk“ pasidarė.
Tuo laukai kaip skruzdėlyns kribždėti pagavo,
Ir gaspadoriai su bernais šienaudami spardės.
Rodės man, kad visas sviets, kovot susibėgęs,
Kardus ir šobles į margas nunešė pievas.
Štai tuojaus visur išsišiepusi giltinė smaugė
Ir visoms lankelėms raudą didę padarė,
Nės dar daug žiedų tikt vos žydėti pradėjo
Ir daugums jų vos savo blogą pumpurą rodė.
Daugel dar visur nei būrų kūdikiai žaidė,
O kiti jau su žiloms barzdoms svyrinėjo.
Giltinė su dalgiu, nei seną gremždama barzdą,
Būrams tuo visiems visur ištuštino pievas;
Tikt Plaučiūno vieno dar nekrutino sklypą.

Тою порою, как Кризас на долю пенял, отовсюду
Грянули крики: «Коси, вороши, укладывай в копны!»
Как муравейник, луга мгновенно зашевелились,
Там, с батраками бок о бок, хозяева сено косили.
Мне показалось, что будто весь мир сошёлся на битву. —
Сабля и меч взвились и на пёстрых лугах заиграли,
Жадная смерть зашагала повсюду с ощеренной пастью.
Плачем-рыданьем великим наполнились дальние поймы,
Ибо цветочки иные там стали цвести незадолго
И лепестки едва распускать начинали другие;
Словно крестьянские дети, играли иные, а рядом,
Бороды сивые свесив, другие качались в дремоте.
Смерть с косою прошла, сбривая, как бороду, травы.
Мигом повсюду луга крестьянские опустошила,
У Плаучюнаса только остался клочок непочатым.

Tas nenaudėlis Plaučiūns, pas Kasparą pernai
Talkoje pavitots, taip baisiai buvo pririjęs,
Kad jis naktyj, ant tamsių laukų klydinėdams,
Budę naują su dalgiu šukėtu prapuldė
Irgi namon išaušus jau vos vos parsibastė.
Taip jisai paskui, per dieną visą miegodams,
Pamestų rykų lauke ieškot neminėjo,
Ik po meto vėl šienaut jau putpela šaukė.
Štai Plaučiūns savo dalgio bei budės pasigedo
Ir vaitodams vis ir šen, ir ten bėginėjo;
Ik paskiaus, iš papykio beržinį pagavęs,
Pačią su glūpais vaikais kone numušė smirdas.

Этот пьянчуга и рохля в минувшем году на толоке
Так нажрался закусок, что Каспарс выставил щедро,
Осоловел до того, что, ночью в поле блуждая,
Косу и с ней оселок посеял, того не заметив, —
Лишь на рассвете домой он с грехом пополам дотащился,
После того проспал мертвецким сном до заката
И позабыл совсем о потерянных в поле орудиях.
Год пролетел, перепёлка опять сенокос возвестила —
Тут наконец оселка и косы Плаучюнас хватился, —
Тяжко заохал, забегал туда-сюда, но напрасно!
Толстый берёзовый прут схватив со зла и с досады,

Насмерть едва не засёк негодяй ребятишек с женою.

Taip po tam jisai, nesvietiškai prisidūkęs
Ir vienausį kuinpalaikį prastai pažebojęs,
Į Karaliaučių dalgį pirkt tiesiog nukeliavo.
O vei ten, dyvų visokių daug pamatydams
Ir žioplinėdams vis bei būriškai šokinėdams,
Budę su nauju dalgiu nusipirkt užsimiršo;
Bet ir kuinpalaikį taip jau pas Miką pragėręs,
Pėsčias po dviejų nedėlių vos parsibastė
Ir savo pievą pridergtą (tikt gėda sakyti)
Šnypšdams ir rėplinėdams vis su piautuvu kirto;
Bet kaimynai jo rugius jau buvo suvalę,
Ir keli kviečių plyckus pasikepę valgė.

Набушевался и после, пропажей своей удручённый,
В тот же день оседлал одноухую тощую клячу
И напрямик в Караляучюс за новой косою поехал.
Там городских чудес нагляделся и, по-крестьянски
Всё-то дивясь на них, до того зазевался, что косу
И оселок купить позабыл он, — память отшибло.
Тут же несчастную клячу у Микаса пропил — и, пеший,
Через полмесяца только назад в свой дом воротился.
Вышел зарёю на луг свой запущенный (ну же и сраму!),
На четвереньках пополз и серпом косить его начал.
В поле тем временем рожь убрали соседи честные,
Кое-кто даже успел и лепёшек пшеничных отведать.

Man dėl to besidyvijant, štai Kasparo tarnas,
Iš rugių kiaules guiniodams, man pasirodė.
„Kas tai? — klausiau jį, — kieno ta dvylika paršų?“ —
„Tič! — tarė jis, — nerėkauk taip, tai Kasparo kiaulės;
O rugiai Plaučiūno, kurs ant! piautuvą plaka.
Juk žinai, kaip jis kasmets blogai rėplinėdams
Ir nei šūdvabalis kribždėdams šūde gyvena.“
Ak! kad jau gaspadorius pats vos gyvs pasijudin
Ir nei utėlė kraujų prisisiurbusi slenka,
Ką jau bernas veiks, kad jam jis lieps pasipurtint?

Но между тем как стоял я, тому удивляясь безмерно,
Вдруг, изо ржи выгоняя свиней, батрак показался.
«Чьи это свиньи — спросил я, — и кто этой ржицы хозяин?»
— «Тише, — ответил детина, — гляди да помалкивай: Каспарс
Стаду хозяин, а ржи — Плаучюнас; вон он, гляди-кось,
Гнётся, кряхтит над серпом, — ведь знаешь небось, что годами
Он непутёвый, живёт, как жук, у навозе копаясь,
Ах, если даже и сам господин ползёт еле-еле,
Словно раздувшийся клоп, то что же, скажи-ка на милость,
Что же поделать слуге, коль велят побыстрей шевелиться?»

„Ak, — tarė Paikžentis, mokinto Bleberio bernas, —
Mans gaidau! nemislyk, kad tikt mūsų ponačiai
Ant česnių su jumprovoms durnai šokinėja
Ir aklai prisisurbę būrams gėdą padaro;
Juk ir būrų daug jau jiems prilygt nesigėdi;
Dingojas, kad vis garbė, ką garbina ponai,
Ir kad vis kytrums, ką jie pliuškėdami plūsta.
Daug yr ponpalaikių, kurie kasdien įsirėmę
Kabiar ir varles visokias svetimas ėda;
O prisiėdę jau bei rinčvynio prisikošę,
Tuo su kortoms ir klastoms kits kitą nugauna.
Bet ir būrai jau nuo jų mokinasi branyt
Ir besišypsojas, kad Krizas Krizą prigauna.“

— «Ах, — отозвался работник бывалого Блеберса, Пайкжент, —
Ах, не думай, брат, что одни лишь баричи наши,
Барышень за руку взяв, на пирушках вертятся глупо
И, напиваясь мертвецки, позорят бурасов скромных.
Нет, и крестьяне иные пример с них брать не стыдятся.

Всё что у бар в чести, полагают достойным почтенья,
Кажутся мудростью высшей им речи барские также.
Много таких господ, что привыкли теперь ежедневно
Жрать, на манер иноземный, икру да поганых лягушек,
После, рейнвейном шипучим налившись по самое горло,
Тут же садится за стол и друг друга обыгрывать в карты.
Но и крестьяне уж нынче от них шельмовству научились, —
Лишь ухмыляются, если подводит бураса бурас».

„Eik, nezaunyk taip“, aš, jam drąsa pasakydams,
Dyvijaus jo kalbai, tuo nuo jo nusigręžęs.
Sako rods mieste, kad būrai menk išsimano
Ir kad jų darbai bei būriškos budavonės
Tikt biauru kalbėt ėsą bei gėda žiūrėti;
Bet, kas taip šveplen, tas būrą dar nepažįsta.
Vierykit tikt man, kad tūls vyžas užsimovęs,
Su protu daugsyk apgauna didelį poną;
Tikt nedrįsta biedžius vis kaip reik pasakyti.

— «Хватит! Довольно болтать!» — ответил я резко и прямо,
Плюнул и, полный досады, спиною к нему повернулся.
В городе молвят, конечно, что разумом нищи крестьяне,
Дескать, об их труде, одежде, избах убогих
Речь неохота вести, — поглядишь, становится стыдно.
Тот, кто болтает такое, не знает бураса толком.
Верьте моим словам: в ином мужичонке невзрачном
Смётки и разума больше, чем в барине высокородном,
Лишь говорить красно не умеет этот бедняга.

Taip bedūmojant man, štai vėl niūkims pasidarė.
Rodės man išties, kad jaučių kaimenė bliovė,
O štai vaikpalaikiai Plaučiūno parnešė plonį.
Žinot juk, kaip mūsų lietuvninkai prisirėkia,
Kad jie po Jokūbinių, jau rugius nukapoję,
„Plonį nešam!“ būriškai šokinėdami suokia.
Taip ir vaikpalaikiai Plaučiūno savo tėtačiui
Garbę su šiaudų kūliu padarydami rėkė;
Nės grūdelius lauke jau vėjai buvo nudaužę,
Taip kad tikt šiaudai į mėšlą mest pasiliko;
O štai dar raspustą jie padaryt prasimanė.
Merčius su Lauru mergas į vandenį vilko;
O Pakulienė su Lauriene tuo pasitiešyt
Vyrus ir vaikus su pilna milžtuve plovė.
Taip besidarkant jiems ir kiauliškai besimaudant,
Barnys su nesvietiškais vaidais pasikėlė.
Lauras, jau per daug mirkyts, tuo piną pagavo;
O Laurienė su Pakuliene lopetas ėmės.
Taip besikėsant jau, tuojaus Plaučiūns pasirodė
Ir, grečnus lašinių šmotus kožnam padalydams,
Papykius durnus ir vaidą visą nutildė.
O po tam savo namą jau viernai čestavojęs
Ir kaimynus iš visų kampų suvadinęs,
Taip nesvietiškai ir kiauliškai prisirijo,
Kad jau su visais svečiais po suolu nupuolė.

Так размышлял я. Внезапно опять послышались крики,
Мне показалось — вдали замычало стадо воловье.
То пожинальный венок принесли Плаучюнаса парни.
Знаете сами небось, как горланят наши литовцы
После Якова дня, как рожь с полей поснимают:
«Вот пожинальный венок!» — кричат и в радости пляшут.
Так и отцу своему, Плаучюнасу, честь воздавая,
С радостным криком тащили ребята снопик соломы,
Ибо зерно из колосьев давненько выдули ветры —
Кинуть солому теперь оставалось скоту на подстилку.
Лодыри также на людях и глупость свою показали:
Девок в лужу толкать там стали Лаурас и Мерчюс,
И, для потехи, в ответ Лаурене и Пакулене
Парней холодной водой окатывать стали из вёдер.

Долго, недолго ли там по-свински они забавлялись, —
Ссора меж них заварилась, посыпались брань да проклятья.
Лаурас, до нитки промокший, за кол дубовый схватился,
Вмиг за лопаты взялись Лаурене и Пакулене.
Так и стояли они, угрожая друг другу, покуда
Сам Плаучюнас не прибыл: ломтями сала свиного
Он оделил их, и разом покой и мир наступили.
После родных своих угостил он вкусно и щедро,
Не позабыл друзей и соседей, ближних и дальних.
Так наконец нахлестался, что, с хмелю совсем оскотинев,
Рядом с гостями своими мешком под скамейку свалился.

„Ak! — tarė Selmas, — jau toktu su mūsų gadyne,
Kaip jau šveisteris ir prancūzas Lietuvą gavo.
Rods ir tarp lietuvninkų tūls randasi kiaulė,
Kurs, lietuviškai kalbėdams, šveisterį peikia;
O tiktai ir pats kaip tikras šveisteris elgias.
Kaip pirm to lietuvninkai dar buvo pagonai
Ir savo dievaičius iš strampų sau pasidarę
Ir po medžiais ant virvių pasikorę gyrė,
Tai jie rods dar taip, kaip mes, nepažindami dievą,
Daug nešvankių ir durnų daiktų prasimanė.
Ogi dabar jau mes, krikščionims būdami prūsai,
Mes lietuvninkai taip baisiai ryt nesigėdim,
Kad ir vokiečiai glupoki tur nusidyvyt.“

«Эх, — отозвался Сельмас — неладно, неладно соседи,
Стало с тех пор, как в Литве водворились француз и швейцарец.
Нынче есть и средь нас такие, которые рьяно
Пришлых швейцарцев хулят, меж собой говоря по-литовски,
Сами же драки заводят не хуже исконных швейцарцев.
Прежде, давным-давно, пребывая в язычестве тёмном,
Идолов разнообразных, из дерева сделанных грубо,
Где-нибудь в диком лесу на сучьях вешал литовец.
Толком, конечно, не зная в то время об истинном боге,
Мерзости всякой немало придумали пращуры наши.
Мы — коренные пруссы — теперь уж давно христиане,
Всё же мы в пьянстве, литовцы, не видим позора и ныне;
Нам и безмозглые немцы подчас должны удивляться».

Selmui taip besiraukant, štai pakamorė suriko:
„Vaikai! kam vis vėpsot taip? Ant dargana rodos,
Ir stulpai saulelės ant debesių prasiplatin.
Ką mums rūp Plaučiūns — tesižino jis supelėdams.
Bėkim skubinkimės greiti suvalyt vasarojį.
Ant! jau baltuoja laukai, ir vasara baigias,
O vasarojas mus dalgius vėl ragina provyt.
Pupos pernokusios, o žirniai jau susiraukia,
Ir iš ankščių jų byrėt jau pradeda vaisius.
Ar ne grieks, žmogau! kad dievo tos dovanėlės,
Dėl kurių besidovydams taip daug trūsinėjai,
Argi ne grieks, kad jos ant lauko tur išsigvildyt?
O kas bus iš mūsų, kad, neturėdami žirnių,
Žiemą su vaikais užsigeisim šiupinio valgyt?
Avižas ir miežius taip jau kone sulesė paukščiai;
O kas liko dar, jau kiaulės sau pasisavin.
Taigi dabar glūpai kisielių visą pražaidėm,
O kruštinių bei kruopelių vos paragausim.
Ar ne gerai mokinau nuolatai suvalyt vasarojį;
Bet jūs nei užkurtę man klausyt nenorėjot.
Taipgi dabar kisieliaus jau ir šiupinio gloda.
O ką veiksim, kad mums reiks į baudžiavą trauktis
Ar žiemos čėse su pradais akselį provyt?
Patys į laukus tuščias kašeles nusinešim;
O galvijams vargstantiems, neturėdami pradų,
Iš bėdos pietums nedarytą pašarą duosim.

Тою порою, как Сельмас вёл речь, сурово нахмурясь,-
Крикнул приказчик: «Ребята, живей за работу беритесь!

Близко ненастье! Смотрите, как солнышко в небе замглилось!
Что нам лентяй Плаучюнас — хоть пропадом пусть пропадёт он!
Дружно, ребята, возьмёмся хлеба убирать яровые!
Вот уж поля забелели: как видно, кончается лето!
Нам яровые велят поскорей оттачивать косы.
Вот перезрели бобы, вот и сохнуть горох начинает,
Кое-где, лопнув, стручки просыпают горошины наземь.
Разве, братец, не грех, что господа бога даянья,
Ради которых, трудясь, обливался ты потом кровавым. —
Разве не грех, что они, перезрев, пропадают задаром?
То-то посетуем, если, ни с чем оставшись, зимою
Вздумаем вдруг на обед с детьми поесть шюпиниса.
Также овёс и ячмень расклевали пролётные птицы.
То, что ещё уцелело, прикончат, видимо, свиньи.
Вот и пропал киселёк — ни за что мы его проморгали?
Ячневой крупки нам тоже едва ль отведать удастся;
Я ведь не раз твердил: яровые скорей убирайте,
Вы же как будто оглохли — и слушать меня не хотели.
Ни киселя теперь, ни похлёбки, ни шюпиниса!
С чем же, соседи честные, на барщину выйдем, скажите?
Как мы зимой извернёмся, когда подберут припасы?
Сами тогда в поля понесём корзины пустые,
Ну, а скотине своей, голодной и отощалой,
Только солому одну давать в бескормицу станем.

O jūs moters, ar ir jūs taip jau pasileidot?
Kam linų raut ir kaip reik iškaršt nesirengiat?
Ar ne gėda jums, kad vokiečių gaspadinės
Iškarštus linus į lauką jau nugabena
Ir, besidyvydamos didei, jūsų tinginį peikia?
Moters! jūs lietuvninkės, ar jau nesigėdit,
Ar nesigėdit, kad jums vokiškos moteriškės
Su dailiais darbais ant lauko gėdą padaro?
O kas bus, kad čėsas verpt ir aust prisiartins,
O lineliai jūs ant lauko bus pasilikę?
Ak! kur dingot jūs, barzdotos mūsų gadynės,
Kaip lietuvninkės dar vokiškai nesirėdė
Ir dar vokiškus žodžius ištart negalėjo.
O štai dar negana, kad vokiškai dabinėjas,
Bet jau ir prancūziškai kalbėt prasimanė.
Taipgi bezaunydamos ir darbo savo pamiršta.

Женщины! С вами что стало? Неужто и вы распустились?
Дергать лён почему не выходите дружной семьёю?
Или не совестно вам, что уже усердные немки
Поочесали головки и лён разостлали на поле,
Лености вашей дивясь и глумясь над беспечностью вашей?
Женщины! Вы, литовки! Неужто, скажите на милость,
Вовсе не стыдно вам, что хозяйки немецкие нынче
Верх берут во всём и везде, куда ни посмотришь?
Ах, что будет! Ведь скоро пора за прядение браться.
Лён же у вас постоит да так и сгниёт на полосках.
Где же, где же теперь старина бородатая наша. —
Те времена, как литовки не шлёндали в платьях немецких
И по-немецки ни слова ещё сказать не умели!
Нынче не только везде на манер немецкий рядятся, —
И по-французски они балагурить уже научились.
Так что порой, заболтавшись, работу свою забывают.

O jūs vyrai! kam gi nenaudėlių moteriškių
Ir išdykėlių mergų raspustą nedraudžiat?
Ar jau norit vokiečiams nuogi pasirodyt
Ir kaip drimeliai ant šlovnų česnių nusigėdėt?
Jūs apjekėliai! ar jau visai nesuprantat,
Kokią sau ir mums visiems padarysite gėdą,
Kad su buksvoms lopytoms į baudžiavą žergsit
Ir mišion sudriskę bei skaroti nukaksit?
Ak! ben gėdėkitės tas gėdas sau pasiprovyt
Irgi pačias kaip reik linų raut guikite greitai.

Ant dar liko kiek, kur kiaulės knist nenukako.
Mažu kas autams ar mazgotėms dar pasiliko;
Ale padurkams jau ir kelnėms gloda zuposto.
Vei ir grybų jau, žėlėk dieve! neragausim:
Juk, anot ano, juos vokiečių gaspadinės
Su ketvirčiais vis džiovint į kakalį šauja.
Plempių, rudmėsių, storkočių bei baravykų,
Jautakių ir baltikių, grūzdų irgi bobausių
Bėgdamos į gires jos sau taip daug prisirovė,
Kad jau kelios jų su grybais į Karaliaučių
Kupčiams išparduot ir ką nusipirkt nukeliavo;
O kas liko dar, zopostui sau pakavojo.
Taigi dabar tikt šungrybiai dar mums pasiliko.
O ką gi veiksim, kad barščius ar šiupinį skanų
Virt užsigeisim, ogi pagardint juos negalėsim?
Žinot juk, kaip grybas, kad jį moki paprovyt,
Viralus ir avižų kruopas užgardina šauniai.

Гей, мужья и отцы! Своих супруг нерадивых
И дочерей — шалопаек пора наконец обуздать вам!
Или ходить нагишом на потеху немцам хотите
И на пирушках шутами себя выставлять? Иль ослепли?
Или рехнулись совсем, что в толк досель не возьмёте-
Стыд какой для вас и всего народа честного,
Если на барщине вдруг на портках расползутся заплаты,
Или же вовсе в лохмотьях отправитесь в церковь, к обедне.
Ах, позор такой отвратить от себя поспешите:
Тотчас лён убирать погоните жён с дочерями, —
Пусть похлопочут: авось пощадили кое-что свиньи,
Может, с грехом пополам, на портянки и тряпки достанет.
Но о штанах и рубашках теперь нелепо и думать.
Вот и грибов, поди, не придётся людям отведать.
Трудолюбивые немки и тут отличиться успели, —
Ходит молва, что сушить кладут их мерами в печки.
Боровиков толстоногих, груздей, опят и лисичек,
И беляков, и волнушек, и рыжиков, и сыроежек
Уйму собрали они по лесам и рощам окрестным,
Так что иные из них в Караляучюс уже покатили,
Чтобы купцам их продать и купить обновы получше,
Да про запас в кладовые припрятали то, что осталось.
Нам же теперь собирать поганки одни, да и только.
Что ж это будет, когда зимою сварим к обеду
Мы шюпинис или борщ, а приправы то к ним не найдётся!
Знаете сами, грибы, если их приготовить умело,
Вкус придают отменный овсянке, а также похлёбке.

Bet ir su riešutais saldžiais taip jau pasidarė.
Vokietės tokių daiktų bačkas prisirinko,
Ir jau kelios jų parduot žakus prisipylė.
O štai mūsų nenaudėlės dar nei riešutytį,
Ir nei vieną, nei mackiurniką riešutytį
Žiemai perkąst ir kramtyt dar nenusiskynė.
Vyrai rods tokių gėrybių menk užsigeidžia.
Jiems tabakėlis, kad ir visą butą prismirdin,
Tikt gardesnis, kaip visi riešutai gardžiausi.
Boboms mūsų bedantėms jie taip jau nepritinka;
Ne, gaidau! nesiūlyk joms, kas joms nepareitis.
Dantys juk, anot ano, sukrošusių metų
Riešutį perkąst ir kramtyt jau nedera boboms.

Вот и с орехами нынче великий срам получился:
Немки — те ухитрялись собрать их целые бочки,
Мало того — и мешки на продажу набить постарались.
Только бездельницы наши, как видим теперь, ни ореха,
Малого даже орешка себе про запас не сорвали,
Чтобы зимою погрызть да пощёлкать, если охота.
Лакомство это, кажись, не совсем по вкусу мужчинам:
Им табачку подавай — пусть дом хоть насквозь провоняет, —
Всё же им табачок орехов сладчайших милее.

Нет в них нужды никакой и старым бабам конечно. –
Не предлагай им того, что на пользу пойти им не может.
Ведь говорится недаром, что, дескать, в преклонные годы
Бабам не по зубам ни грызть, ни щёлкать орехи.

Ale nereik dėl to dar tą niekutį paniekint.
Mergos visos ir visi jauninteli klapai
Tas gėrybes juk kramtydami garbina skaudžiai.
Žiemą, kad vakarais Katryna snausdama verpia,
Paukšterėdams riešutys tuojaus išbudina visą;
O kad Jekė su Pime daug plūst nesiliauja,
Tuo riešutų krūva, kad jos į gomurį kiša,
Jų glūpas šnektas ir zauną visą nutildo.
Ogi dabar kas bus, kad mūsų moterų gaujos
Su mergoms ką verpt susisės pas kakalį šiltą,
O riešutų nebus, ir dantys griežd ami šypters
Taip pamatysim tuo, kaip vindai mūsų žiuponių,
Pakulų bei linų grįžtes pešinėdami, stapters.
Taip žiema pasibaigs, o mes nuogi pasiliksim.“

Нужно ль, скажите, совсем безделицей брезговать этой?
Нет! И девушки наши и все пареньки молодые.
Знаем, с охотой грызут, почитают орешки усердно.
Вечером зимним, когда над прялкой задремлет Катрина,
Щёлкнет орех на зубах и всех лентяев разбудит;
Если ж Еке и Пиме, бранясь, никак не уймутся,
Куча орехов им рот заткнёт и угомонит их,
Всякие там пересуды и глупые речи умолкнут.
Братцы, что ж будет теперь, как любезные наши хозяйки
С девками сядут зимой у печек тёплых за пряжу?
Только орешков им нет – и примутся вновь зубоскалить.
Сразу увидим тогда, как стихают прялки повсюду,
Прясть пеньку и лён помаленьку переставая.
Так пролетит зима, и весну мы голые встретим».

„Stui, – tarė, kaimynkas viernai užstodama, Jekė, –
Moters! ar jau mes visai pasiduosime gėdai?
Kas tai per niūkims? Dėl ko taip rėkiate, vyrai?
Ar visai dūšeles jau norit mūsų nudovyt?
Kas jums rūp linai bei brauktos pakulų grįžtės?
Rūpinkitės tikt už laukus, už pašarą žiemai!
Ant ateina jau Mikielės didelė šventė
Ir su jąja podraug biaurybės rudenio šlapios;
O vei dar nevalyts ant lauko stov vasarojas,
Irgi kanapės vėjų parblokštos svyrinėja.“

– «Стой, – за соседок своих заступясь, воскликнула Еке, –
Хватит, подруги, краснеть да помалкивать нам виновато.
Из-за чего этот шум, почему раскричались, мужчины?
Или попрёками нас уморить вконец захотели?
Что вам за дело до льна и пеньки, скажите на милость?
Вы бы, чем всё попрекать, позаботились об урожае!
Вот уж Михаилов день к нам в гости пожаловать хочет,
С ним заодно холода, заодно и осенняя слякоть,
Ан погляди – на полях яровые не убраны вовсе,
И конопля полегла и под ветром шумит на полосках».

Taip besipriešijant, štai! vakmistras pasirodė
Ir su juom Šlapjurgis bei Pakulūns pakamorė.
Tuos baisingus tris svečius pamatydami būrai
Taip nusigando, kad tuo vaidytis užsimiršo;
Bet pons vakmistras, tuojaus beržinį nutvėręs
Ir bais rėkaudams, taipo kalbėti pradėjo:
„Jūs baudžiauninkai! girdėkit, ką pasakysiu;
O jūs moters su mergoms, laikykite burnas.
Mes, kaip užveizdai ir ponai jūsų statyti,
Vasarai ir laukų darbams visiems besibaigiant,
Jus graudent ir tėviškai pamokint užsimanėm.
Dievs visagalįsis, kurs svietą visą sutvėrė

Ir mums žmogiškus, ūmus bei razumą davė,
Tas širdingas tėvs ir mūsų miels geradėjas,
Rūpindams už mus, mus vėl dosniai pamylėjo,
Ir mums duonos daug, o bandai pašaro davė.
Žinot juk visi, koks blogas buvo zopostas,
Kaip saulelė vėl pas mus atgrįžti pradėjo
Ir mes būriškai laukus įdirbt susibėgom.
Dešros ir lašiniai su kumpiais irgi su sūriais
Baigės jau, o mes prastus išvirdami kąsnius
Uždaro dairėmės, visur mėsos pasigedę;
Bet kisielius ans gardus su šiupiniu mielu
Buvo jau visai ant stalų mūs pasibaigę.
O štai! kaip jau vėl po šalčių šilumą jautėm
Ir gaivinančią mums dievs vėl vasarą davė,
Tuo ir riebūs valgiai vėl pamaži prasidėjo,
O mes tuo gardžiai ką virt ir kept prasimanėm,
Ik po tam pašaliai visi pilnoki pastojo
Ir mes vėl šmotus grečnus išvirdami valgėm.
Taipgi dabar, vasarėlei mielai jau besibaigiant,
Kožnas viens bliūdus ir puodus pradeda tarškint,
Kad po tiek vargų ben kartą vėl pasidžiaugtų
Ir taip daug pardovytas dūšeles gaivintų…

Tою порой, как они пререкались, начальник явился,
Следом пришли Пакулунс — приказчик, а также Шлапьюргис.
Грозных гостей троих пред собой увидя, крестьяне
Так испугались, что разом о споре своём позабыли.
К людям приблизясь, начальник взял кол увесистый тотчас
И, голос возвысив до крика, сказал им примерно такое:
«Ближе, бурасы, станьте и слушайте, что вам скажу я,
Вы ж языки за зубами держите, бабы и девки!
Мы, как надсмотрщики ваши и, значит, старшие над вами,
Видя, что лету конец, что на нивах стихает работа,
Вас по-отцовски хотим наставить своим поученьем.
Вот всемогущий господь, сотворивший небо и землю,
Острую смётку и разум нам давший, тварям ничтожным,
Он, возлюбленный наш зиждитель и покровитель,
Нас, многогрешных, опять удостоил он милостью щедро!
Нам урожай послал и кормов изобильных скотине.
Помните сами небось, до чего оскудели запасы
В пору, когда на весну поворачивать солнышко стало,
И выходили с сохой мы в поля, как должно крестьянам.
Окорока и колбасы, сыры и сало свиное
Стали к концу подходить, и мы, похлёбку готовя,
Тщетно приправы искали: пришлось позабыть нам о мясе,
Вкусный кисель, шюпинис, любимое кушанье наше,
В те многотрудные дни со столов надолго исчезли.
Но унялись холода, и опять повеяло с неба
Животворящим теплом, и приблизилось лето господне.
Тут понемногу и стали запасы у нас появляется,
Жирные кушанья жарить-варить опять начинаем.
Нынче, как доверху снова полны чуланы и клетки,
Стали, конечно, мы есть вкусней и много сытнее.
Снова на долгий покой провожая милое лето,
Каждый греметь начинает горшками и мисками, чтобы
После суровых лишений ещё раз душу потешить,
После тяжёлых трудов отдохнуть и повеселиться,

Ale, žmogau, žmogau! saugokis to neminėti,
Kurs tau ant laukų bėginėjant ir trūsinėjant
Su savo dangiškais sargais kribždėti padėjo.
Vei! ką žemė tau viernai augindama davė
Ir ką sodai bei daržai žydėdami rodė,
Vislab jau, kaip pats žinai, kampe pakavojai
Ir iščėrausi, kad dievs laikys, žiemavodams.
Argi dabar tau nereikės aukštyn pažiūrėti
Ir kasdien daugsyk tą šlovint irgi pagarbint,
Kurs taip daugel vėl iš naujo tau dovanojo?
Tai, kaimynai! tai vyriausi reikmenė jūsų;

O po tam kas ponams reiks atlikt maloningiems
Ir kas šiuilėms ir bažnyčioms puolasi kyštert;
Ar kas man reikės mokėt, kad aš jodinėdams
Ir skvieruodams kartais jus lankyti pradėsiu.
Žinot juk, koktu, kad vakmistrai pasirodo
Ir būrus glūpus nešvankiai keikdami bara.
Taigi dabokitės ir mašnas čėsu prisikraukit,
Kad kožnam, kas reiks, į čėso reikalą tikrą
Čiuptert irgi nutvert tuojaus su sauja galėsit.

Но, человек, человек, не забудь в благодарных молитвах
Славить того, кто твоим неустанным трудам и заботам
Благословенье слал, приходил повседневно на помощь.
Всё, чем тебя за труды землица вознаградила.
Всё, что сады уродили и что принесли огороды.
Нынче повсюду собрал ты и, спрятав в свои кладовые,
За зиму долгую съешь, если бог пошлёт тебе жизни.
Разве не следует к небу поднять благодарные взоры,
Изо дня в день хвалить того, чья милость безмерна.
Кто осчастливил тебя дарами столькими снова!
Это, соседи честные, обязанность первая ваша!
Далее, то, что сберечь для господской милости нужно,
Что подобает оставить на церкви, а также на школы,
Или же мне заплатить, как в деревню часом прибуду
И недоимки начну по закону с вас требовать строго.
Знаете вы, каково, когда наезжают нежданно
Вахмистры и распекают нещадно бурасов глупых.
Так что свои кошельки набивайте загодя, люди,
Чтобы любой, как подать платить пора наступает,
Талеров полную горсть из мошны немедля достал бы.

Taip mus atsiųsdams pons amstrots mūs maloningas
Mums jūsų mylistą šį kartą paliepė sveikint,
Melsdams nuoširdžiai visus čėsu pasrūpint,
Kad man jus skvieruot ir kartais pliekt nereikėtų:
Nės didei biednų širdis jo gailisi būrų.
Taigi dabar pasakiau, kas man pasakyti reikėjo.
O jūsų mylistai, kad švęsit rudenį riebų,
Daug linksmybių velydams, pasiliecavoju.
Tikt n'užmiršKit irgi manęs ir mano namelių,
Kad pulkais susikviesit į česnis pasilinksmint.
Jaugi gana šiamsyk, jau mielą vasarą baikim
Ir prieš rudenį, kas mums reiks, nugamint n'užsimiršKim.“
Gana.

Нынче, нас прислал, повелел пан амтсрат любезный
Милость вашу поздравить, желая чистосердечно,
Чтобы любой из вас не за страх, а за совесть старался,
Чтоб не пришлось понукать, а часом учить вас и палкой,
Ибо душа у него за крестьян болит неимущих!
Вот я и всё сказал, что сказать мне надобно было.
Ну, а на случай, как праздник осенний справлять соберётесь,
Вам пожелаю сердечно я также много веселья,
Только прошу не забыть обо мне и моих домочадцах,
Как на пирушки начнёте гостей созывать отовсюду.
Хватит на этот раз проводим милое лето
И до осенних дней заготовим всё, что потребно».

Rudenio gėrybės

Блага осени

Ant saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas
Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia.
Vei kasdien daugiaus ji mums savo spindulį slepia;
O šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia.
Vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdraut
Ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščia.
Todėl ir orų drungnums atvėsti pagavo

Irgi senystę jau graudena kailinius imtis.
Bobą su diedu blogu pas kakalį siunčia,
O kitus atšilt į stubą ragina lįsti
Ir valgius drungnus bei šiltą viralą valgyt.

Вот уж солнышко вновь, удаляясь от нас неуклонно,
Наши края покидает, спешит склониться к закату.
День ото дня лучи всё больше солнышко прячет,
День ото дня, глядишь, длиннее тени ложатся.
Ветры крылатые снова шалить начинают помалу,
Прочь прогоняют тепло, зашумели в чащах и в поле, —
Вот почему и воздух становится всё холоднее,
Зябкую старость опять натянуть полушубок торопит,
Бабе и дряхлому деду у печки велит приютиться,
Всех остальных в жильё загоняет — отогреваться
Тёплым и жирным куском или с пылу горячей похлёбкой.

Žemė su visais pasaliais įmurusi verkia,
Kad mūsų ratai jos išplautą nugarą drasko.
Kur pirm du kuinu lengvai mums pavežė naštą,
Jaugi dabar keturiais arkliais pavažiuoti nepigu.
Ratas ant ašies braškėdams sukasi sunkiai
Irgi žemes biaurias išplėšdams teskina šmotais.
Vei laukų sklypai visur skendėdami maudos,
O lytus žmonėms teškėdams nugarą skalbia.
Vyžos su blogais sopagais vandenį surbia
Ir biaurius purvus kaip tašlą mindami minko.

Вся промокла земля и слезами обильными плачет,
Если порой колесо раздирает ей дряблую спину.
Там, где телегу легко вывозила пара клячонок,
Нынче её протащить и четвёрке, глядишь, не под силу.
Оси визжат и скрипят, и колёса вертятся натужно,
Вязнут по втулку в грязище и комья взметают высоко.
Полосы пашен лежат, утопая в расплывшихся лужах.
Дождь, неуёмный дождь поливает спины прохожим,
И сапожишки и лапти хлебают студёную воду,
Липкую грязь на дорогах меся, как тесто крутое.

Ak, kur dingot, giedros jūs gi pavasario dienos,
Kaip mes, pirmąsyk stubos atverdami langus,
Šildantį šiltos saulelės spindulį jautėm?
Lyg kaip sapnas koks, kurį miegodami matom,
Ogi pabudę jo po tam trumpai paminėjam,
Lygiai taip prašoko mums su vasara džiaugsmas.
Ogi dabar purvynai, kad juos krutina vyžos,
Nei kisielius ant ugnies pleškėdami teška.
Vislab, kas pas mus lakstydams vasarą šventė
Ar plezdendams ant laukų linksmai šokinėjo,
Vislab, kas linguodama ik debesų pasikėlė
Ir, pasidžiaugęs taip, grūdelius su vabalu valgė,
Vislab jau prastojo mus ir nulėkė slėptis.
Taip laukai pasiliko mums visur gedulingi,
Irgi grožybės jų nei kapas sens pasirodo.

Где же вы, красные дни? Куда, скажите, вы делись,
Дни, как, в избе впервой на волю окно отворяя,
Чувствовать мы начинали тепло весеннего солнца?
Словно какой-нибудь сон невзначай приснился, и после,
Вдруг пробудясь, о нём вспоминали вскользь, ненадолго, —
Так и радость от нас с промелькнувшим летом умчалась.
Ах, куда ты ни глянь, одна лишь слякоть повсюду,
Словно кисель на огне, пузырями вскипает под лаптем.
Всё, что порхало, резвилось на светлом празднестве лета.
Всё, что в траве луговой копошилось долгими днями,
Всё, что к небу взмывало, качая крыльями плавно,
И насыщалось потом козявками и червяками, —
В страхе покинуло нас, поспешая от стужи укрыться.
Осиротели поля и в скорбь глубокую впали,

Роскоши прежней лишась, уподобились старым кладбищам.

Krūmus ir gires linksmas jau giltinė suka,
Ir grožybes jų gaišin draskydama vėtra.
Šakos, ant kurių po lapais užgimė veislė
Ir lizdelyj nei lopšyj čypsėdama verkė
Ar apžėlusi jau po tam lakstydama juokės
Ir savo peną be momos skraidydama gaudė,
Tos vietelės jau visur taipo nusirėdė,
Kad jos nei žagarai sausi siūbuodami barška.
Ten, kur meškins ant kelmų bites kopinėjo,
O meška vaikus glūpus murmėdama žindė;
Ten, kur briedžiai draskančių vilkų nusigando,
O vilkai savo veislę kaukt ir plėšt pamokino;
Ten, kur vanags su vaikais daug sulesė vištų,
Ir varnai pulkais žąsyčius pavogė mūsų, –
Ten, žiūrėkit, ten džiaugsmai taipo pasidėjo,
Kad tikt varnos dar biaurybę rudenio garbin,
O paukšteliai su dainoms ankštai pasislėpė
Irgi be rūpesčių šaltai sapnuodami miegti.

Опустошает смерть и леса и мелкий кустарник.
Исподволь их красоту обрывают бури и ливни.
Ветви, где только недавно под листьями выводки птичьи
В гнёздах своих пищали и плакали, как в колыбелях,
Где оперились потом и, крылья расправив, резвились,
Мошек ловить на лету принимались без матери милой, –
Нынче совсем оголились и стали как высохший хворост,
Бьются, стучат друг о друга, когда разыграются ветры.
Там, где медведь выгребал из колоды тяжёлые соты
И, медвежат кормя, медведица глухо рычала,
Там, где испуганный лось уносился, опасность почуя,
И грабежу да вытью обучали выводок волки,
Там, где немало кур ястреба унесли-поклевали
И вороньё воровало гусят зазевавшихся глупых, –
Там, поглядите, совсем пропало нынче веселье.
Только вороны одни прославляют осеннюю мерзость.
Певчих птиц не слыхать, – давным-давно схоронились
И беззаботно спят, коротая холодную пору.

Ak, daržų grožybės jūs su savo žolelėms,
Jūs kvietkelės jaunos, jūs gi pavasario šlovė,
Ak, kur dingo jūs puikums su savo kvapeliais!
Vei ką sodai mums margai žydėdami rodė,
O ką vasara mums po tam augindama siūlė,
Tas visas gėrybes jau kampe pakavojam
Irgi su puodais ar skauradoms virdami valgom.
O jūs žąsys, jūs niekus pliuškėdamos antys,
Eikit, maudykitės, pakol dar atviros upės.
Jūs gaidžiai su vištoms ir kas mėžinį krapštot,
Bėkit, skubinkitės ben kartą dar pasilinksmint.
Ale nedingokit, kad mes dėl alaso mielo
Ar dėl jūs dainų šventų jus šeriame tvartuos;
Ne, mes dėl mėsos tiktai jūsų giriame balsą.

Ах, огороды наши в нарядах из зелени свежей,
Слава и гордость весны – цветочки ранние в поле, –
Ах, ни следа от вашей красы и благоуханья.
Но погляди, полюбуйся: что вешней порой огороды
Нам показали в расцвет и лето взрастило позднее, –
Это добро в кладовые, в чуланы мы прячем сегодня,
После, сварив иль зажарив, едим и хвалим усердно.
Вы же, гуси, и вы, болтуньи-утки, ступайте
И поплещитесь, потешьтесь, пока ещё реки открыты.
Вы, петухи и куры, что возитесь вечно в навозе,
Кыш поскорее во двор, чтоб ещё насладиться немного.
Только не думайте вправду, что мы из-за вашего шума,
Песен ваших святых, во дворах вас держим да кормим, –
Нет, из-за вкусного мяса ваш голос хозяева хвалят.

Tikt dyvai žiūrėt, kaip moters dilina stungius,
Ir baisu klausyt, kad bobos tarškina puodus.
Gryta su Pime kampuoto titnago ieško,
O Selmykė sau iš autų purvelį svilin.
Bet Katrynė su Berge skauradą šiūruoja
Ir, kad daug ugnies ben veik po katilu degtų,
Su pilvotais zūbais vis į kaminą pučia.
Jekė su Maguže džiovintą pagalį skaldo,
O Enskys sausos malkelės atneša glėbį.
Ale Dočys nenaudėlis, pas kakalį šiltą
Snausdams ir zūbus laižydams, ėdesio tyko;
Nes Astė pietums nupenėtą šutina gaidį
Ir kelis kviečių plyckus į kakalį šauja.

Любо смотреть, как ножами орудуют нынче стряпухи,
Страшно, ей-богу, когда громыхают сковородами.
Ищут зубчатый кремень озабоченно Грита и Пиме,
Дует на тлеющий трут Сельмике, стоя у печки,
Берге с Катрине в углу котелки песком начищают,
Выпятив губы, они усердно дуют на пламя,
Чтобы под самым горшком веселей и жарче пылало.
Яке с Магуже дружно поленья колют на щепки,
Тащит дровишки сухие Энскис — за охапкой охапку.
Только лодырь Дочис, прислонясь к натопленной печке,
Дремлет, глотая слюну, втихомолку еды поджидает.
Вот, петуха общипав, кладёт в горшок его Асте,
В печку сажает она десяток лепёшек пшеничных.

Dočiui taip besilaižant ir didei besidžiaugiant,
Štai kvieslys puikiai rėdyts ir raits pasirodė
Ir visus svodbon ateit pas Krizą paprašė.
Svotų kožnas viens, tuojaus kepurę nuvoždams
Ir už garbę tą didei kaip reik dėkavodams,
Krizą pagarbint ir svodbon ateit pažadėjo.
O vei vos ašma diena po tam pasirodė,
Štai visi kaimynai svodbiškai pasirėdė.
Steps su Merčium, kurpes sau naujas nusipirkę,
O Jons su Lauru, dailias vyžas nusipynę,
Rėdės ir svodbon nukeliaut kuinus pažebojo.
Ypačiai iš visų Enskys savo šimelį prausė
Ir, balnodams jį, prie šonų prisegė kilpas.
Taip išrėdęs jau žirgelio nugarą visą,
Tuo savo kulšis su nauju diržu surakino
Ir ant blauzdų svodbiškus sopagus užsimovė.
Moterų pusė kapos sūnelius palydėt pasisiūlė;
Nes ir jas kvieslys į česnį buvo pakvietęs;
Todėl jos taip jau, kaip reik viešnėms, išsirėdė.
Ale ne vokiškai, kaip kelios jau prasimanė,
Ne, lietuviškai kožna tarp jų susiglamžė.
Juk žinai, kaip mūs lietuvninkės dabinėjas,
Kad viešėt ar į česnis nukeliaut užsigeidžia.
Kykas su nometu bei ploštė moterų rėdai,
Bet vainikas su kasoms mergų dabinėjims.
Bobos, šiukštu jums margų vainikų norėti,
O jūs mergos, vėl, minau, n'užsigeiskite kykų!

Слюни глотал Дочис, блаженствуя в полудремоте;
Вдруг верхом на коне разряжённый посланец явился.
Оповестил он соседей, что Кризас зовёт их на свадьбу.
Скинули шапки сваты и, кланяясь в пояс усердно,
Благодарили за честь великую и обещали
Кризаса-друга почтить и на свадьбу прибыть, как просил он.
Скоро неделя прошла, и в назначенный день, спозаранку,
Стали соседи везде наряжаться на свадьбу получше —
Не поскупясь, башмаки обновили Степас и Мерчис,
Загодя Йонас и Лаурас сплели себе новые лапти,
В путь отправляясь, они накормили коней; особливо ж
Там суетился Энские: сначала выкупал сивку,

После, седлая её, стремена пристегнул он исправно;
Лошадь свою разукрасив как должно, он напоследок
Поясом новым стянул бока и брюхо покрепче,
Новеньких пару сапог натянул, понатужась маленько.
Женщин немало в селе сыновей проводить напросилось,
Ибо на свадебный пир позвал их также хозяин.
Как подобает гостям, приоделись соседки, но только
Не на немецкий манер, как теперь ухитряются часто, —
Нет, на литовский, на свойский оделись они. Ведь известно,
Как с незапамятных пор наряжаются наши литвинки,
В гости либо на пир собираясь: замужних признаешь —
Кики на их головах, да ещё домотканые шали.
Головы пёстрым веночком украшены у незамужних.
Бабы, не думайте вы о венках девичьих нисколько,
Девушки, вам говорю, не прельщайтесь кикою бабьей.

Taip, kaip girdit, didis pulks visaip išsirėdęs
Irgi nešvankiai klykaudama pas Krizą nukako.
Brizas tuo pasikloniodams pasveikino kožną
Ir, į savo namelį viežlybai suvadinęs,
Tuo pavitot visus brangvyno atnešė plėčką
Ir svotus linksmus meilingai ragino surbti.
Ale moma marčios visokių sunešė plyckų
Ir savo sukviestus svetelius taipo pamylėjo,
Kad keli jau būriškas šūtkas prasimanė
Ir viens valgydams pas stalą šūdą pasakė.

Вот наконец потянулись толпою неисчислимой
Люди в пёстрых нарядах, галдя и песни горланя.
Каждого низким поклоном у входа приветствовал Кризас,
Дверь распахнул широко и в дом гостей пригласил он,
Водки большую бутыль на стол поставил и начал
Ею от чистого сердца весёлых потчевать сватов.
Ну, а невестина мать, сходив за всякою снедью,
Так накормила гостей, что язык у иных развязался
И принялись отпускать помаленьку мужицкие шутки.
Даже дурак один за столом сказал непристойность.

Taip pirmonės svodbiškas linksmai beragaujant,
Štai tuo svodbiškas bliovims visur pasikėlė,
Taip kad ir arkliai blogi šokinėdami žvengė.
O vei vėl tuojaus tas pats kvieslys pasirodė
Irgi beklykaudams kumelės nugarą daužė.
Tu nenaudėli, kam spardai kumelio šonus?
Ar negana, kad jį vos gyvą baudžiava lupo?
O tu su pentinais jam dar daugsini vargą?
Jok pamaži, žioply, nemušk be reikalo kuiną!
Juk girdi, rytoj reikės į girę važiuoti,
O poryt mažu reiks parvežint didelį pilvą.
Taip jam, kaip girdėjot, būriškai besispardant,
Štai tuo pro vartus rėdytą parvežė porą,
Ant kurios švents vyskupas pas dievstalį šventą
Vinčiavodams kaip reik žegnonę buvo padėjęs.

И постепенно дошло до такого разгула веселье,
Гам поднялся такой, что и клячи худые в сарае
Стали метаться, ржать, на дыбы вставая в тревоге.
Тут-то верхом появился опять разодетый посланец.
Он, понукая коня, по спине колотил его рьяно.
Ты для чего жеребца, голова пустая, дубасишь?
Мало ль гоняли его на барщину эту неделю?
Ты ж ему в бок норовишь побольнее шпорой заехать!
Остановись — без нужды горемыку нечего мучить!
Завтра ему чуть свет за дровами в лес отправляться,
А послезавтра везти брюхача — господина придётся.
По двору сват проскакал, жеребца понукая пинками,
Въехали тотчас во двор молодые через ворота,
Перед святым алтарём епископ святой обвенчал их,
Как подобает, обоих напутствовал благословеньем.

Gentys ir kaimynai, jau visi susibėgę
Ir jaunikį su marčia pasveikinę dailiai,
Tuo gardžiai pavitot į Krizo suvedė namą.
Krizas irgi močiutė jo, surukusi boba,
Gėrėjos didei dukters sulaukusiu svodbą.
Nės Ilzbutė, jų dukčiutė, buvo paskiausi
Ir prieg tam už šulco į Taukius nutekėjo.
Todėl tėvai jos, sukvietę giminę visą,
Tytveik daug dėl to kaštavos irgi steliavos.
Karvių tris beržDžias, o jaučių du mėsinėjo;
Bet kiek kiaulių bei avių, mėsininks nerokavo;
Ale žąsų bei vistų vos viena pasiliko.

Вмиг новобрачным навстречу сбежались родня и соседи,
Их от души поздравляли, довольства и счастья желая,
Вкусными яствами после попотчевать в дом проводили.
Кризас с женой своей, уже старухою дряхлой,
Сидя поодаль, глядели на дочку с радостью в сердце,
Ибо у них была Ильзбуте самой последней,
Замуж вышла она вдобавок за шульца из Таукяй.
Вот почему, приглашая родню и соседей на свадьбу,
Кризас, счастливый отец, не скупился на — траты нисколько.
Яловых трёх коров и двух бычков годовалых
К свадьбе зарезать велел, а свиней и овец не считали,
Что же до кур и гусей, то остались от них одиночки.

Tas mėsas visokias, šiaip ir taip sukapotas,
Krizo kukorius taip smarkiai pleškino svodbai,
Kad ant ūlyčių visur ūžims pasikėlė,
Ir kaimyns Pauluks dėl to didei nusigando.
Taip išvirtus jau valgius iš katilo semdams,
O pečenkas su kabliais iš kakalio traukdams,
Petras kukorius, kaip girdit, buvo sutaisęs
Irgi svečiams išalkusiems vis ragino siūlyt.
Tušė, staltieses tuojaus atnešusi plonas,
Svodbiškai kaip reik išrėdė didelį stalą.
O po tam kviesliai greiti daug sunešė valgių:
Jautienos riebios, kiaulienos irgi žąsienos,
Plaučių bei kepenų, bei daugel sutintų blėkų.

Множество яств мясных и закусок разнообразных
Кризаса повар готовил усердно круглые сутки.
Шум такой стоял над всей округой, что даже
Кризаса дальний сосед, Паулукс, встревожился очень.
Вот из котлов черпаком разлив по тарелкам похлёбку,
Вытащив вслед за тем сковородки с жаркими из печки,
Повар Пятрас сказал, что кушанья, дескать, готовы,
Дескать, на стол собирать и званых потчевать можно.
Тонких тогда скатертей достала Туше немедля,
Свадебный стол большой украсила как подобает.
Быстро потом натаскали посланцы кушаний всяких,
Цельных гусей в жиру, и свинину с говядиной также,
И потрохов разварных, и рубцов в кастрюлях опрятных.

Svotams taip po tam Tėvemūs šventai pasiskaičius
Ir krikščioniškai pas stalą jau susisėdus,
Krizas savo svečius meilingai ragino valgyt
Ir, kaip dūšiai reik, pasisotint ir paslinksmint.
Štai tuojaus Enskys, ištraukęs didelį peilį,
Virtas ir keptas mėsas padalyt pasisiūlė.
Bet, kaip ponai daro, tranšieruot nemokėdams,
Tuo su nagais kaip būrs lašinių šmotus nusitvėrė
Ir skvarbydams ant torielių sumetė stukiais;
Nės prisirijęs jau nenumanė madagiai elgtis.
Ale svečių keli brangvynų pluk prisisurbę,
Tokius taip grečnus šmotus pamatyt negalėjo;
O kiti, taip jau girti, neturėdami peilių
Ir su rankomis apgniaužę, lašinius ėdė,

Taip kad jų taukai per barzdą jau nulašėjo.
Nės jie mislijo, kad būrs, pas Krizą sėdėdams,
Kloniotis ir poniškai pasielgt neprivalo.

Благоговейно сперва «Отче наш» они прочитали,
По-христиански потом за стол трапезный уселись.
Кризас гостей дорогих обходил, их всех приглашал он
Сколько угодно душе насыщаться, пить, веселиться.
Длинный и узкий нож Энские достал из кармана,
Вызвался он для гостей на куски разрезать жаркое.
Но, по-господски нисколько ножом владеть не умея,
Сала большие куски хватал он всей пятернёю
И, разрывая, бросал их соседям своим на тарелки,
Ибо изрядно хлебнул и уже позабыл о приличьи;
Выпили гости иные крепчайшей водки сверх меры
И нагрузились так, что на яства смотреть не хотели,
Ну, а другие пьянчуги, ножей не имевшие вовсе,
Сало руками хватали и ели с чавканьем жадным.
Губы лоснились у них, и стекали по бородам капли.
Думали гости: когда на пирушке у Кризаса бурас,
Нет, мол, нужды никакой блюсти господский обычай.

Taipgi bevalgant jau ir būriškai besidžiaugiant,
Krizas šūkterėjo; štai tuo tarnai pasirodė
Ir alaus macnaus su drogais atnešė bačką;
O kviesliai, su kragais svodbiškais susibėgę,
Pyvo sudrumsto malkus tikt košia, tikt košia.
Nės tirštoks alus, perdėm per gomurį plaukdams,
Ir tiršti malkai veikiaus prisotina skilvį.

Тою порой, как, жуя, насыщались они по-крестьянски,
Крикнул хозяин, и вот гурьбою слуги явились
И на носилках внесли здоровенный пива бочонок.
Тут-то сваты сбежались к нему и стали мгновенно
Кружки со взболтанным пивом тянуть одну за другою,
Ибо скорей насыщает желудок жаждущим людям
Пиво с гущею, в горло струёй сплошной проливаясь.

Štai visi svoteliai, su pasimėgimu valgę
Ir tirštų malkelių jau dosniai prisisurbę,
Poterių, kaip krikščionims reik, skaityt užsimiršo
Ir kaip kiaulės almono (tikt gėda sakyti)
Kiauliškas dainas dainuot ir žviegt užsimanė.
Stepas nuo riebių kumelių daug pamelavo,
O Enskys savo poniškus išgarbino jaučius,
Ar kitaip glūpas šūtkas taisydami juokės.
Lauras su pirštu dambrelį skambino pūsdams,
O Jokūbs, strūnas įtempdams, čirškino smuiką.
Ale Dočys, per daug prisiėdęs bei prisisurbęs,
Nei koks žakas lenkiškas po suolu nupuolė,
Taip kad kožnas viens dėlto didei nusigando
Ir vos pusgyvį su drogais išnešė laukan.

Вот наконец поезжане наелись кушаний вкусных,
Пивом густым и холодным они угостились на славу,
По-христиански ж молитву прочесть совсем позабыли.
Стали крестьяне (о, стыд!) арендаторским свиньям подобны,
Гогот и визг поднялся, раздались непристойные песни…
Стяпас бессовестно врал о раскормленных дюжих кобылах.
Пьяный Энскис выхвалял волов своего господина,
Прочие в шутках солёных под хохот и гам изощрялись.
Лаурас, щёки надув, дудел там в дудку пастушью,
Рьяно на скрипке пиликал с ним рядом пьяный Йокубас.
Только Дочис молчал — до того нажрался и напился,
Что, как мешок, со скамьи он рухнул на пол внезапно,
Перепугал гостей, и людям тотчас на воздух
Вынесть его пришлось, одурелого, еле живого.

Bet ir moters svodbiškai pasidžiaugt n'užsimiršo,

Ale labai kytriai; nės greitos moterų klastos
Kartais ir kytriausį klapą moka prigauti.
Barbė su Pime, Laurienė bei Pakulienė
Valgydamos brangvyno nė pažiūrėt nenorėjo
Irgi padyvijo didei, kad miela Krizienė
Ir mergoms tokio nešvankaus gėrimo siūlė.
O štai, mislyk tikt, brolau, kas čia pasidarė.
Tos klastorkos tuo po tam kampe susilindo
Ir pakavotą sau brangvyno didelę plėčką
Su keliais malkais slaptoms ištuštino visą.
O paskui niekus visokius plūsti pradėjo
Ir kitoms viernoms kaimynkoms gėdą padarė.
Barbė su Pime dainavo pašukų dainą,
O Laurienė su Pakuliene garbino gaidį.
Bet gaspadinės viežlybos skyriu susisėdo
Ir kas namui reik kaimyniškai pavapėjo.
Dakė savo žąsis ir Jekė dideles antis
Garbindamos dyvų visokių daug sumelavo.
Juk žinai, kaip daug pliuškėt gal moterų būdas,
Kad jos ant česnių dėl namo reikmenių vapa.

Женщины тоже на свадьбе изрядно повеселились,
Только схитрили они, — ибо кто же не знает, что баба
За нос порой провести мужика хитрейшего может.
Барбе и Пиме рядком с Лаурене и Пакулене,
Сев за свадебный стол, и смотреть не хотели на водку,
Даже дивились весьма, как любезная может Кризене
Девушек потчевать скромных таким непотребным напитком.
Ну, а потом, потом — что, братец, там заварилось!
В угол укромный тишком забрались греховодницы эти,
Водки припрятанной флягу большую мигом достали,
В два-три глотка её осушили до капли последней.
Тут-то стали они выкомаривать штуки такие,
Что, покраснев от стыда, головами качали соседки.
Песню про лён не в лад загорланили Барбе и Пиме.
Песенку в честь петуха затянули соседки другие.
Те же, кто был постепенней, от них подальше уселись,
Чтобы в тиши меж собой о домашних делах покалякать.
Даке своих гусенят выхваляла, уточек — Яке,
Врали они не судом, с три короба там наболтали,
Ибо известно, какие бывают охотницы бабы
Потолковать меж собой о делах и заботах домашних…

Taip besipasakojant, štai špielmonai susibėgo
Ir savo būriškus ant šokio skambino žaislus.
Plyckius cimbolus, o Kubas čirškino smuiką,
Bet Žnairiuks zūbus ištempęs birbino vamzdį.
Štai tuojaus Enskys, mergas krūvon suvadinęs,
Su puikiais kaimynų klapais ragino šokti.
Klišis su biauriais sopagais Pimę nutvėrė,
O Kairiuks aps'avęs kurpes Tusę pagriebė
Ir lietuviškai ant aslos šokdami spardės.
Bet kiti, su vyžomis tyčioms išsirėdę
Ar basi, rūbus nusivilkę, štuką padarė.
Juk žinai, kaip linksmas būrs per daug prisisurbęs
Kartais ant česnių durnas šūtkas prasimano.

А между тем музыканты толпою пёстрой ввалились,
Тотчас они принялись играть мужицкие танцы.
Кубас на скрипке пилил, на цимбалах наяривал Плицкюс,
Дул Шнайрюкас в трубу, раскрасневшись и выпятив губы.
Девок в тесный кружок собрав, Энскис охмелевший
Их уговаривал в танце пройтись с молодыми парнями.
Клишис в смазных сапогах разомлелую Пиме облапил,
Туше мгновенно сгрёб в башмаки обутый Кайрюкас,
И, сотрясая пол, затопали все по-литовски.
Ради потехи одни босиком иль в лаптях танцевали,
Сбросив кафтаны, другие выкидывать стали коленца,
Нам-то известно, как бурас, напившись пьян, веселится,

Что за дурацкие шутки в хмелю откалывать может?

Bet girdėkit dar toliaus, kas čia pasidarė.
Du kaimynu nekviestu svodbon atsibastė,
Viens jų Slunkium, o kitsai Pelėda vadinams.
Krizas koliojo nuopertą porą matydams,
Ale bobutė jo, dėl to didei nusigandus,
Tuo gumbu vaitot ir skaudžiai sirgti pradėjo.
Rods negražu, kad kas į česnį veržiasi lįsti.
Kur tik sukviesti bičiuliai gal čestavotis.
Stui, nešvankėli, nelįsk, kur lįsti netinka,
Lauk, ik Krizas tau per paslą šauks pasirodyt
Ir kaip viežlybą kaimyną lieps pasilinksmint.
Todėl viežlybi svoteliai taip nusigando,
Kad jie neigi tabako jau rūkyt negalėjo,
Bet dėl išgąsties iš rankų išmetė pypkius.
Špielmonai taip jau dėl tokio didelio stroko
Su žaislais savo skambančiais po suolu nulindo;
O visi, kurie linksmai šokinėdami rėkė,
Stapterėjo tuojaus ir baisiai bliauti paliovė.
Dainos nuo gaidžių, nuo vištų irgi žąsyčių,
Kalbos nuo vilkų, nuo meškų irgi nuo jaučių
Dėl baisybės tos tuojaus į nieką pavirto;
Irgi svečiai visi, tyloms kasydami galvas,
Kas tam strokui reik, nei šiaip, nei taip n'išsimanė,
Ik Enskys, iš papykio beržinį pagriebęs,
Slunkiaus irgi Pelėdos šonus skalbti pradėjo
Ir po tam, plaukų nusitvėręs, išmetė laukan.

Но погодите, — извольте послушать, что дальше случилось.
Два появились внезапно соседа неприглашённых —
Слункюс с Пеледою; оба бездельники и прощелыги.
С криком рассерженный Кризас напал на гостей нежеланных.
Тут же старуха его с перепугу так расхворалась.
Что начала стонать из-за тяжкой боли в утробе.
Верно, негоже, когда человек врывается силой
В дом, где лишь званых гостей и соседей честных угощают.
Стой да гляди, безобразник, не лезь, куда не пристало!
Жди терпеливо, когда соизволит тебя на пирушку
В дом свой Кризас позвать как достойного друга-соседа.
И началось меж гостями тогда смятенье большое.
С мест повскакали дружки, позабыв о кураньи любезном
И с перепугу роняя из рук кисеты и трубки,
Разом игру оборвали, в смятенье пришли музыканты
И под скамьями, столами искать спасения стали.
Те же, кто в пляске весёлой носился с криком и визгом,
Остановились вмиг, перестали орать безобразно.
Песенки о петухах, о курицах и гусенятах,
Толки о волках лесных, о медведях, волах и о прочем
Разом утихли кругом, будто не было их и в помине.
Гости стояли, смутясь, и в затылках с кряхтеньем чесали.
Соображая, как быть им, покуда Энскис, обозлённый,
С места сорвавшись внезапно, поленом не вооружился:
Он по бокам хорошенько Пеледу и Слункюса съездил,
Их за волосья схватил и с проклятьем вышвырнул за дверь.

Ale nedyvykitės, kalbas girdėdami tokias.
Juk ir ponai, poniškai daugsyk prisiriję,
Būrišķus štukius, kaip mes, pramanydami juokias.
Būrų rods daugums tarp mūsų nemandagiai elgias,
Ypačiai ant česnių linksmų tūls randasi naras,
Kurs daug zaunydams krikštynoms gėdą padaro.
Ale nedingokim, kad kožnas pons įsirėmęs
Vis šventus ir viežlybus tikt ištaria daiktus.
Ak, šlapjurgis ir tarp jų, per daug prisikošęs,
Būrišķas šūtkas išpliopt taip jau nesigėdi.

Не удивляйтесь нисколько, услышав подобные речи:
И господа порой, как хлебнут по-господски чрез меру,

То же, что мы во хмелю, вытворяют, с бесстыдством таким же.
Бурасов много, конечно, ведущих себя непотребно,
И особливо на шумных пирушках находятся дурни,
Что болтовнёю своей христиан примерных позорят!
Но не подумайте вы, что барин любой постоянно
Благочестивые речи ведёт, поступает пристойно,
Эх, и средь них немало таких пьянчуг-сквернословов,
Шутку мужичью на людях сболтнуть ничего им не стоит.

„Ak, – tarė Pričkus, – aš, tiek metų šulcu bebūdams,
Dvariškus būdus ir ponų visą rabatą
Pluk įsitėmijau, girdėdams irgi žiūrėdams.
Andai tropijos, kad aš su gromata pono
Pas vyriausį dumčių raits nukeliauti turėjau,
Pas kurį puikių šlapjurgių daug susibastė.
Aš, kaip tarnui reik, savo prastą mučę nuvožęs
Ir paikiai pasikloniojęs, tuo gromatą rodžiau
Irgi, padavęs ją, tyčioms į atdarą kuknę
Įlindau pažiūrėt, kokius ten šutina kąsnius.
Nėsa, papratęs jau tarp ponų skiauturę rodyt,
Nei koks draugas jų, nebijaus nei šiokio, nei tokio.
Čia trys kukoriai duži man tuo pasirodė;
Viens nešvankėlis mėsinėjo vanagą juodą,
O kitsai, su nagais draskymams ištisą zuikį,
Kirmėlių gyvų lizdus iš vėdaro krapštė;
Ale trečiasis du biauriu ryku nusitvėręs,
Rupužes baisias į bliūdą tarškino platų;
Nės tas rupužes mūsų ponai garbino skaudžiai.

«Эх,– отозвался Причкус, – уж столько в шульцах служу я.
Что именитых господ мне дела и нравы знакомы.
Чти запримечу, завижу, спешу на ус намотать я.
Вот и намедни случилось, как барин с письмом наказал мне
Сесть на коня и тотчас к господину советнику съездить.
Много их там к нему понаехало, пьяниц отпетых.
Как подобает слуге, я шапчонку убогую сдёрнул
И, поклонясь по-простецки, письмо хозяину подал.
Освободившись, я тотчас ввалился в открытую кухню,
Чтобы один разок поглядеть на барские яства,
Правда, мозолить глаза господам именитым привык я, –
Езжу вот так не впервой, и уже не берёт меня робость.
Дюжих трёх поваров я приметил – один, страховитый,
Ястреба там потрошил, черноперую птицу чудную,
Цельного зайца другой раздирал ногтями кривыми,
Веришь, живых червей выковыривал он из желудка,
Третий, какую-то вдруг чудную посудину взявши,
Кучу поганых жаб на блюдо вывалил разом, –
Нынче, слыхать, господам особливо жабы по вкусу.

Taipgi bežiūrint man jau dūšiai pikta pastojo,
Ir aš, pro duris iššokęs, vemti pradėjau.
Taip nesvietiškai nusivėmęs, vėl pasirodžiau,
Bet tyčioms nesakiau, dėl ko man taip pasidarė.
Žinot juk, kaip ponpalaikiai tuo juokiasi būrui;
O mažu jie dar man čia būtų mušę per ausį.
Todėl tykojau tyloms, už durų nulindęs,
Kad pamatyčiau ben, kaip ponai mūs čestavojas.
Kukoriai valgius naujus jau buvo sutaisę,
Taip kad visas dvars dėl jų smirdėti pradėjo.
Štai tuo poniški tarnai visi susibėgo
Ir jau vislab, kas ant stalo reik, sunešioję,
Virtus ir keptus valgius tuojaus sugabeno.
Aš, rankas būriškas kaip reik susiėmęs,
Poniškų bei nobažnų vis poterių laukiu.
Štai žiūriu, kiekviens tarp jų jau rengiasi sėstis
Ir, visai dangaus užmiršęs, imasi šaukštą
Irgi bezaunydams valgius į gomurį kiša.

Очень я долго смотрел: разбирать тошнота меня стала.

Выскочив тотчас на двор, у распахнутой двери сблевал я
И, облегчившись маленько, опять к господам воротился,
Только о тон, что стряслось, не обмолвился даже и словом;
Знаете сами небось, как глумятся баре над нами,
Ну и вдобавок меня по зубам бы, может, хватили.
Вот почему, воротясь, потихоньку я в угол забрался,
Чтобы глядеть, как друзей угощают баре радушно.
Множество всяческих блюд повара сготовить успели,
Дым коромыслом стоял, и усадьба насквозь провоняла.
Слуги сбежались гурьбой, проворно засуетились,
Вилок, тарелок, ножен натащили, на стол собирая,
Уйму потом нанесли и жареных яств и варёных.
Грубые руки свои на груди сложил я как должно,
Барских горячих молитв в простоте ожидая душевной.
Вижу, садятся за стол, придвигают тарелки поближе,
О небесах позабыв, за ножи да за ложки берутся,
Яства за обе щеки уплетать принимаются дружно.

Aš dar tokias biaurybes kol gyvs neregėjęs,
Taip nusidyvijau, kad jau kone rėkti pradėjau.
Tikt susimisliįęs, kad man čia nedera rėkaut,
Vis pamaži šnibždėdams ir kytriai pasislėpdams,
Taip iškoliojau, kad šunys kaukti suniko:
Jūs išputėliai pilvoti, jūs gi bedieviai,
Ar jau gėda jums šventai rankas susiimti
Ir aukštyn pažiūrėt, kad riebius imate kąsnius?
Mes suskretę būrai, mes vyžoti nabagai,
Šen ir ten vis stumdyti bei daug prisivargę,
Tankiai vos plutas sausas į vėdarą kišam
Ir tikt su blogu skinkiu gaiviname širdis,
O tikt ir už tai kasdien dėkavojame dievui.
O jūs neprieteliai, valgius vis rydami riebius
Ir vis rinčvynius į pilvą košdami storą,
Dievo bei dangaus visai paminėti paliovėt.
Ar nesibijotės užspringt, kad kabiar ėdat,
Ar kad jūsų namus perkūns į plentą supleškins?
Taip trumpai padūmojęs sau ir atrašą gavęs.
Tuo kone dvilinks ir nesvietiškai nusigandęs
Pro duris iššokau irgi namo parjojau.“

Сколько на свете живу, не видал безобразья такого.
Крикнуть с досады хотелось, поверишь — насилу сдержался.
Но, поразмыслив о том, что кричать мне здесь не пристало,
Я за дверьми схоронился, проклятьями стал втихомолку
Сыпать такими, что даже собаки в голос завыли.
«Ах, брюхачи-господа! Ах, безбожники! Стыдно вам, что ли,
Набожно руки сложить и, как водится, на небо глянуть,
Прежде чем к жирным кускам тянуться, пасти разинув?
Мы — заскорузлый народ, бедняки в дырявых лаптишках,
Сколько мы терпим и как помыкают нами жестоко,
Часто лишь корки сухие грызём в обед или завтрак,
Душу свою веселим одним кваском жидковатым,
Но и за это творцу благодарность шлём каждодневно.
Вы же, бездельники, вы, наедаясь обильно и сладко,
Толстые брюха свои рейнвейном переполняя,
Господа бога и вовсе в речах поминать перестали.
Иль не боитесь ничуть за столом икрой подавиться?
Или надеетесь вы, что минуют вас громы господни?»
Так поразмыслив и в руки письмо получив, из покоев
Кубарем вылетел я, себя не помня от страха,
Клячу свою подхлестнул и убрался скорей восвояси».

„Ak, — tarė Selmas, — rods nešvankios mūsų gadynės
Ant visų šelmystų jau visai pasileido.
Pons ir tarnas jo peklon tikt bėga, tikt bėga.
Ans, įsirėmęs vis ir poniškai pasipūtęs
Vardo dieviško jau gėdėjas paminėti,
O šisai, kad jam įtiktų, niekina dievą.
Pons apjekėlis, velniop šuoliais besisukdams,

Ir tarnus sau išrinktus apjekti mokina.
Dievs ir žodis jo, bažnyčių mūsų grožybės,
Giesmės nobažnos taip jau, kaip poteriai mūsų,
Neprieteliams tokiems nei smarvė mėžinio smirdi.
Lumper irgi kamėdigės apjekino poną,
O tarnai jo be drausmės kekšaudami juokias.
Ak, kur dingo viežlybums jau mūsų gadynių!“

– «Да, времена подошли нечестивые! – вымолвил Сельмас. –
Всюду, куда ни ткнись, – шельмовство одно, да и только.
Баре и слуги, глядишь, всё в пекло лезут да лезут.
Тот задирает нос и, в бока упёршись кулаками,
Господа лишний раз помянуть считает зазорным,
Бога поносит другой, этой дурьей башке в угожденье;
Барин, глядишь, как слепец, в преисподнюю прёт ошалело,
Преданных слуг своих беззаконью учит тому же.
Слово святое господне, церквей красота и величье,
Звучные наши псалмы и сердечные наши молитвы –
Хуже навозного смрада для этих гнусных людишек.
С толку барина сбили театры, пирушки да ломбер.
Слуги его распустились, руки хозяйской не чуют, –
Где же, где же она, былая благопристойность?»

Taip besipasakojant ir svodbą visą bebaigiant,
Štai tuojaus vyžots atbėgęs Bleberio tarnas:
„Ak, – tarė, – linksminkitės, jau vėl česnis pasidaro.
Tikt girdėkit, kaip Bendiksas žąsiną piauja
Ir kaip Paikžentis pasiritęs aviną smaugia.
Vaškus savo namams vienragį bulių stekena,
O Mikols darže taip smarkiai svilina kuilį,
Kad per mylią dūmai, nei debesiai pasikėlę,
Saulę su žvaigždėms ir šaltą mėnesį tamsin.
Taigi dabar dešrų visokių bus prisivalgyt,
Nės lašinių bei kumpių jau rūkyt pakabintų
Žiemai pas būrus daugybė didelė kaba;
O dar vis daugiaus mėsos į kaminą kemša.
Taigi dabar, česnis lietuviškai pasidarę
Ir vargus visus užmiršę, vėl atsigausim.“

Так меж собою они толковали. Уж свадьба кончалась,
Вдруг прибежал в лаптях работник Блеберса шустрый:
«Навеселились, поди! Ну, так пир затевается новый!
Бендиксас режет гусей, – поглядите, как суетится;
Пайкжентис, нож навострив, баранов жирных свежует,
Неподалёку быка однорогого Ваушкус режет;
Миколс палит кабана усердно среди огорода,
И напустил он кругом дымищу такого, что в небе
Не различить ни звёзд, ни луны холодной, ни солнца.
Вдосталь будет колбас, чтобы досыта гости наелись.
Ибо и сала свиного и окороков для копченья
Много висит на крюках у крестьянина в зимнюю пору.
Но заложили в трубу мясца добротного вдвое,
Так что теперь наконец пировать по-литовски мы станем,
Душу хоть чуть отведём, хоть на миг о невзгодах забудем.

Ale nemislykit, tokią girdėdami kalbą,
Kad ant apjuoko ji mums yra pramanyta;
Juk permier mes biedžiai ant laukų prisivargom
Ir greiti, kaip būrams reik, į baudžiavą bėgom
Mėšlą vežt, užkrėst, užart, grūdelius barstyti,
Šieną kirst, sugrėbt ir po kraiku pakavoti
Ir visas gėrybes į skūnes suvalyti.
Ak, kas tai darbai, kurius atlikt trūsinėjom!
Lytus mums daugsyk taip dirbant nugarą prausė
Ir tūls tvankas įžarstytas daug kepino kiaušę.
Mes besidovydami daugsyk kruopas nedarytas
Ir plutas menkas blogai kramtydami valgėm.
Tankiai mes tvanke prastai maišydami skinkį
Ir vandens malkus iš klano semdami gėrėm.

Prakaito taip daug nuo veido mums nulašėjo,
Kad per nosį teškančios vis ritosi srovės.
Ak, mes biedžiai, ak, visur didei prisivargom!

Только не думайте вы, услышав речи такие,
Что для насмешки над нами они, мол, сказаны были.
Слишком уж, братцы мои, мы в полях намаялись тяжко,
Знали одно всегда — что бежать на барщину надо:
То вывозить навоз, то пахать, боронить или сеять,
Сено косить, сгребать и укладывать на сеновалы
Иль, наконец, урожай отвозить в сараи да клети.
Ах, в непрестанном труде мы с зари до зари пребывали;
Ливни частенько хлестали по нашим натруженным спинам.
Лица и головы нам обжигало знойное солнце.
Мы, на работы спеша, давились кашей сухою,
В завтрак, обед с трудом жевали чёрствые корки.
Часто мы жажду в жару утоляли, квас разбавляя
Мутной водою, из лужи зачерпнутой где-нибудь в поле.
Так изобильно пот стекал со лбов воспалённых,
Что за ручьями ручьи бежали по подбородку.
Крепко намаялись мы и немало горя хлебнули.

Nugi dabar, naštas vargų visas nusikratę,
Jau pasilinksminkim bensyk česnyj susikvietę.
Tam juk dievs dosnus gėrybes mums dovanoja,
Kad nusimūčiję bei, kaip mums reik, trūsinėję,
Vėl atsigautumbim, gardžiai kramtydami kąsnius.
Darbo reik, nės taip kožnam dievs paliepė valgyt,
Valgio reik, kad dirbančius syla nepamestų.
Taigi nečėdykim mušt, piaut ir skerst savo valgį.
Vaike, numušk drąsa jautuką sau nupenėjęs;
Piauk avių kelias, nečėdyk aviną luiną;
Kišk žąsis, pyles, vištas į didelį puodą;
Skersk daglus paršus, pasiskersk nutukusią kiaulę;
Valgyk sveiks dešras, iš kruopo sau pasidaręs.
Imk raumens stukius, sukapojęs kimšk smageninę;
O kad dar negana, nusitvėręs didelę žarną,
Kimšk drąsa plaučius, n'atbok, kad plyšdama driksters,
Ir kepenų n'užmiršk, kad storą pridrebi dešrą;
Nės tokie daiktai tau gal didei susigadyt.
Juk žinai, koks kūds daugsyk pavasario čėsas.
Ar ne gerai, kad dar per mėšlus spirgini spirgus
Ir kad per rugius į mielą baudžiavą bėgdams
Argi namėj ką veikdams sau išsišutini kumpį?

Ну, так стряхнём поскорей невзгод постылое бремя,
Повеселимся хоть раз на пирушке дружеской, братцы,
Ведь для того и господь одаряет нас милостью щедрой,
Чтобы такие, как мы, натрудившись, набедовавшись.
Ожили сердцем опять, подкрепились едою обильной.
Все мы трудиться должны, ибо есть повелел нам всевышний.
Должно нам есть для того, чтобы нас не покинули силы, —
Так что сегодня скотину коли и режь, не жалея,
Если откормишь бычка, его забивай без раздумья,
Режь, не щадя, овец и баранов комолых не милуй,
Куриц, уток, гусей вари горшками большими,
Ты кабана заколи, поросяток пёстрых вдобавок.
Ешь на здоровье, дружок, крупяные с салом колбасы,
Жирного мяса возьми и колбас мозговых понаделай.
Если же мало тебе, то свиную кишку потрохами
Плотно набей, не боясь, что лопнет и разорвётся.
Ты, набивая колбасы, смотри, не забудь о печёнке.
Снедь такая тебе, конечно, будет на пользу.
Знаешь небось, как туго приходится часто весною,
Ну, так в навозницу ты, отдыхая, шкварок нажаришь.
Либо в страду, спеша на любезную барщину нашу,
Либо же дома, трудясь, ветчинки сваришь, быть может».

„Rods, — tarė Lauras, — su miera vis reik pasipurtint.

Proto reik, kad ką rudens čėse mėsinėji,
O kad čėrauji, vėl reik su razumu čėraut.
Ar tai prots, kad kas, sulaukęs rudenį riebų,
Vis besijuokdams ir dainuodams lašinius ėda
Ir prisiryt aklai kasdien į karčemą lenda?
Juk girdėjot jau, kaip ans Dočys, šokinėdams
Ir kasdien girtuodams bei durnai smaguriaudams,
Iš bėdos paskiaus kaip smirdas ubagui teko.
Vaike, privalgydams ir gerdams mandagiai elkis.
Mets tur daug dienų, ik visas jis pasibaigia,
O kožna diena daug kąsnių nor pasisotint.
Pusryčiai kasdien ir pietūs, ir vakarienė
Skilvį permaldyt ir ramdyt pašaro stena;
O dar irgi paludieniai daugsyk išsišiepę,
Kad darbai laukų prasiplatina, lūkuria šmotų.

— «Тут и сноровка нужна, — произнёс рассудительный Лаурас,-
Действовать надо с умом, если осенью режешь скотину.
А принимаешься есть — рассчитай хорошенько запасы.
Разве разумно, скажи, коли осени тучной дождёшься
И обжираться начнёшь беспечно мясом и салом,
Изо дня в день в корчму с набитым брюхом таскаться?
Кажется, слышали вы, как Дочис, наш старым знакомый,
Пьянствуя целыми днями, обжорству меры не зная,
После того по селу ходил как нищий последний.
Досыта ешь, сынок, но будь поблагоразумней,
Много проходит дней, покуда год не иссякнет,
Требует каждый из них кусков, чтоб насытиться, много.
Встал и позавтракал утром, а там и обедать садишься,
Под вечер снова еды неуёмный просит желудок,
Не говоря уж о том, что и полдник, бывает, устроишь,
Если на лишний кусок потянет в страдную пору,

Taigi ne vis kasdien nei svodbą didelę keldams
Ir nei kokias krikštynas padarydams čėrauk!
Ne kasdien vis su smalstumais vėdarą linksmink
Irgi ne vis durnai ir taip sau uždarą pūstyk,
Kad paskiaus valgius tau reiks išpliurpt nedarytus.
Pastarnoks su morkais, ropės irgi repukai,
Barščiai su burokais bei rauginta lapienė,
Žirniai, kad su pupoms juos iššutinti puode,
Ir šiupinys gardus, taip jau ir mandagi gručė
Su kisielium, kad juos sau išpleškini virdams,
Ar po tam visaip virti kartupelių valgiai
Ir kelmučiai, kad juos sau su uždaru verdi, —
Vislab bus gardu ir tau didei susigadys,
Kad kasdien kaip reik bandysi mandagiai čėraut
Irgi bečėraudams kitų dienų paminėsi.

До пресыщения, значит, не каждый день наедайся
Будто на свадьбе какой, пирушке или крестинах,
Помни, не каждый день желудок лакомить нужно.
То-то посетуешь, если останешься вдруг без приправы,
Если придётся в нужде пробавляться похлёбкою пресной.
Репа, морковь, пастернак, петрушка, также и редька,
Добрый наваристый борщ из свёклы и кислой капусты
И вперемежку с бобами горох, тушенный в горшочке,
Вкусный, густой шюпинис и крупа, дроблённая мелко,
Если её с киселём разварить потом хорошенько,
Также, скажу, и картофель, будь жареный, будь он печёный,
Ну и, конечно, грибы с приправою разнообразной —
Всё это вкусно и сытно, пойдёт, конечно, на пользу,
Ежели каждый день в еде знать меру ты будешь,
Ежели помнить будешь о завтрашнем дне за едою.

Ale nepyk, gaidau, kad žodį dar pasakysiu!
Tarp lietuvninkų daugsyk tūls randasi smirdas,
Kurs, lietuviškai kalbėdams ir šokinėdams,
Lyg kaip tikras vokietis mums gėdą padaro.

Daug tarp mūs yra, kurie, durnai prisiriję,
Vokiškas dainas dainuot ir keikt pasipratin,
Ir kaip vokiečiai kasdien į karčemą bėga.
Todėl tūls žioplys, supliurpęs visą zopostą,
Kartais pusnuogis ant apjuoko rėplinėja.
Jūs pustelninkai, ar tam dievs savo gėrybes
Mums kasdien ir taip dosniai dovanoja,
Kad mes jas tikt vis kaip kiaulės ėsdami rytum?
Pilvą rods kasdien protingai reikia palinksmint.
Bet ir, kas ant pilvo reik, vis turime rūpint.“

Но не посетуйте вы, коли слово ещё вам скажу я:
Много встречается нынче, соседи, таких негодяев,
Что, от литовцев родясь, говоря на литовском наречьи,
Нам на великий позор примером немцев избрали.
Много меж нами таких, что, хватив хмельного чрез меру,
Песни немецкие петь приучаются и сквернословить,
И, словно немцы, торчат в шинках с утра до полночи.
Не потому ли иной, до последнего слопав запасы,
На смех людям честным на карачках ползёт, полуголый?
О расточители! Вас, недостойных людей, для того ли
Благами изо дня в день одаряет щедро всевышний,
Чтобы, не зная забот, вы потом обжирались, как свиньи?
Брюхо своё ежедневно побаловать нужно, конечно,
Но не забудь и того, что прикрыть его надо одеждой».

„Tai jau vis tiesa, – švepluodams ištarė Bužas; –
Žinom juk visi, kaip mes nuoginteli gemam,
Taip didžiausias pons, kaip mes, vyžoti nabagai,
Ciesorius taip jau, kaip jo skaroti padonai;
Ubags taip, kaip pons kytriausias, užgema glūpas,
Ir taip viens, kaip kits, iš papo moterų surbia.
Pons šilkuos, o būrs šiauduos verkšlen pasislėpęs,
Ik abu po to protingai pradeda mislyt.
Būrui taip, kaip ir ponačiui, kad susiderkia,
Reik su marškonio sklypu pasturgalį šluostyt
Ir jo vystyklus biaurius su vandeniu plauti.
Ak, nepadyvyk man dėl tokio dyvino žodžio;
Juk žinai, kad vis tiesa, ką čia suvapėjom.

– «Да, его истинно так! – промолвил, шамкая, Бужас. –
Мы-то ведь знаем небось, каковыми рождаются люди:
Лапотник – так же, как барин, на свет является голым,
Голым родится король, как из подданных нищий последний,
Нищий так же, как барин хитрейший, рождается глупым,
Кормятся оба они небось молоком материнским,
Оба – барчук на шелках, на соломе младенец крестьянский –
Плачут, пока разуметь они не начнут мало-мальски,
Бурас-малыш и барчук преисправно марают пелёнки;
Тряпочкой нужно зады обтирать, без сомненья, обоим,
Нужно тому и другому пелёнки мыть постоянно.
Братцы мои, не дивитесь речам моим странным нисколько,
Милые, честью клянусь – говорил я сущую правду.

Taip kiekviens žmogus vargingai pradeda žioptert,
Kad jis iš tamsos į svieto ritasi šviesą
Ir po tam lopšyj sapnuodams šaukia pagalbos;
Viens taip jau, kaip kits, užgimdams užgema blogas.
Kad ponačius į garbingą patalą deda,
O būrus prastus į tamsų pašalį kiša
Ar suvystytus ant menko padeda demblio,
Kiek jie, mislyk tikt, sau patys atneša lobių?
Ponų dar nei viens su kardu negimė sviete,
O tarp būrų vėl nei viens sau n'atnešė žagrę
Ar akėčioms padarynes ar negelį grėbliui.
Pons didžios giminės, tarp būrų vis pasipūtęs,
Nei lašinių taukai ant šilto vandenio plaukia;
Bet nabagėlis būrs, skylėtą mučę nuvožęs,
Dėl jo žaibo lėts pas šaltą kakalį dreba

Ar iš tolo kloniojas didei pasilenkęs.
Bet jau taip kožnam dievs vietą mandagiai taikė,
Kad viens kaip baisus kunigaikštis skiauturę rodo,
O kits per purvus klampodams mėžinį rauso.

Горестно плакать, кричать человек любой начинает,
Только-только на свет явясь яз кромешного мрака;
После из люльки нередко зовёт он спросонья на помощь.
Бурас-малыш и барчук при рожденьи беспомощны оба,
Только, когда барчука в постель с почётом относят,
Бураса тут же спешат положить куда-нибудь в угол
Иль, спеленав, оставляют его на убогой рогоже.
Много ль богатств они с собою приносят, скажи-ка?
Барин ещё никогда с мечом в руке не рождался,
Из материнского чрева бедняк не являлся вовеки
Ни с бороною-зубаткой, ни с вилами, ни с грабловищем.
Высокородные баре средь бурасов чванятся, будто
Плавает, лоснится жир поверх похлёбки горячей.
А горемыка-крестьянин, как снимет дырявую шапку,
Так, ослеплённый их блеском, трясётся у печки холодной
Или же издалека перед ними гнётся в поклоне.
Каждому место его, видать, назначил всевышний,
Чтобы, спесивясь, один властелином расхаживал грозным
И каждодневно другой в грязи да в навозе копался.

Rods yr daug žioplių, kurie nabagėlį būrą
Iš nelabos širdies per paiką drimelį laiko,
O štai patys juk daugsyk kaip drimeliai elgias.
Kas tokiems išdykėliams gardžiai pasivalgyt
Ir prisisurbt saldžiai pelnytų reikalą kožną,
Kas dirvas užartų, sėtų bei nuvalytų,
Kas grūdelius iškultų ir parduot nuvažiuotų,
Kad nei Lauro, nei dosningo Krizo nebūtų?
Žinom juk, kaip kožnas pons su savo namiškiais,
Rudenyj duonos ir gardžių pyragų netekęs,
Būrui iš bėdos į ranką pinigą bruka
Irgi beglostydams jį maldo, kad susimiltų.
O štai tuo paskui, kaip didis pons įsirėmęs
Irgi nesvietiškai darkydams, vargina biedžių
Ar besišypsodams jo prastą niekina namą.“

Знаем, есть много таких, что забитого бураса часто
Олухом круглым считают, его от души презирая.
Дурни! Ведь сами они заслужили подобную кличку.
Кто бы бездельникам этим доставил вкусные яства,
Кто бы сладким питьём всегда ублажал их, скажите.
Кто бы поля распахал, да засеял, да жатву убрал бы,
Кто бы муки намолол и продать её в город поехал,
Если бы не были здесь ретивые Лаурас и Кризас?
Мы-то ведь знаем, что барин любой, для своих домочадцев
Осенью поздней ни хлеба и ни пирогов не имея,
Бурасу деньги суёт, стараясь к нему подольститься,
Увещевает его подсобить ему в трудную пору.
Ну а потом, глядишь, он, в бока упёршись кулаками
И обо всём позабыв, ругмя ругает беднягу
И насмехается снова над ним и над всем его домом».

„Rods, – tarė Pričkus, – taip ir man daugsyk pasidarė,
Kad aš šaltyšiaudams šen ir ten jodinėjau.
Amtmons keikė taip, kad man plaukai pasišiaušė,
O tarp būrų daug mane jau kone visą prakeikė.
Pons iškoliodams kasdien mane tinginiu šaukė
Ir, kad urdelį n'ištaisiau, tuo mušė per ausi,
Kad snargliai perdėm iš nosies šokti pagavo.
Rods tai kiauliškas maniers ir didelė gėda,
Ypačiai kad dėl to baudžiauninks pradeda juoktis,
O paskui šaltyšiaus jau visai nesibijo
Ir jį spiaudydams per paiką kumelį laiko.
Kad mane pons kampe tamsiam ir visą nupeštų,

Ale po tam šviesoj kožnam vėl visą pagirtų,
Tai ben dūšiai taip skaudu nei sunku nebūtų.
Ogi dabar taip gėdiškai visur pasirodau,
Kad ir vaikpalaikiai jau man išsišiept pasidrąsin.

— «Это я видел не раз, — отозвался Причкус, — солтысом
Был я, и разъезжать частенько мне приходилось.
Амтман ругался так, что вставали волосы дыбом,
Да и от бурасов также я брани наслушался вдоволь.
«Лодырь!» — изо дня в день кричал мне барин, бывало,
Коль ненароком случится замешкаться хоть на минуту.
По уху смажет — да так, что сопли из носу брызнут.
Барам, кажись, не к лицу обычаи свинские эти,
И особливо, когда крестьяне, увидя такое,
Перестают солтыса считать за старшого меж ними,
И на него плюют, и зовут его глупою клячей.
Если бы барин меня отодрал где-нибудь на конюшне,
Ну, а потом расхвалил от чистого сердца пред всеми,
Не было б, верно, тогда так горько мне и обидно.
Люду честному теперь на глаза мне стыд показаться.
Даже мальчишки — и те надо мной глумиться дерзают.

Andai tropijos, kad aš, į baudžiavą jodams,
Kaip šaltyšiui reik, įdrožiau tinginį Slunkių.
Bet jisai, tuojaus mane pešt ir mušt pasikėsęs,
„Eik, — tarė, — snargliau! kas tau rūp? štai gausi per ausį!
Ar jau užmiršai, kaip pons tavo nugarą skalbė?“
Aš, dėl žodžio to biauraus didei nusigandęs,
Jau kur galvą savo nukist visai nežinojau,
Bet kiti baudžiauninkai dainuodami juokės.
Tai atlikom jau, visur niekai pasidarė.
Lygiai kaip antai šašuots pavasario sniegas,
Kad jis pradeda tirpt, žiemos jau nedera keliui,
Lyg taip su garbėms visoms ir man pasidarė.

Вот и намедни случилось: когда на барщину ехал,
Лодыря Слункюса вздумал наставить, как должно солтысу;
Рассвирепел он, как зверь, да ногами затопал, да рявкнул:
«Ах ты, старый дурак! Убирайся, иль в ухо заеду!
Видно, забыл ты, как барин тебя по спине отдубасил?»
Братцы мои, до того я опешил тогда, что, поверьте,
Просто не знал, куда мне голову деть от позора.
Бурасы, то увидав, животы надорвали со смеху.
Да уж всё миновало и ввек назад не вернётся.
Вот как весною, когда повсюду снег раскисает
И для саней, глядишь, не годятся больше дороги,
Так получилось со мной и с моим почётом, соседи.

Ba, kaip jauns buvau (kur dingot, mano dienelės!),
Ai, kaip jauns buvau, visi mane girdavo klapai.
Ar būt pons ar būrs, ar berns ar slūginė kerdžiaus,
Ir vaikai be buksvų ir dar žįsdami papą,
Vislab ir visur, kaip girdit, liaupsino Pričkų.
Ogi dabar žilam visi jau juokiasi bloznui;
Pons taipo, kaip būrs, šaltyšių niekina seną.
Aš daugsyk, pažebodams sau nuplikusį kuiną
Ir karčius žilus ant sprando jo pamatydams,
Su dūsavimais išvystu savo senystę.
O kad rudenyj per purvus į baudžiavą joju,
O mano kuinpalaikis klampodams žengt nenujėgia,
Aš jo taip gailiuos, kad kartais ašarų srovės,
Ypačiai kad iškoliots jodau, varva nuo zūbų.
Taip aš, mislyk tikt, gailiuosi pasenusio kuino;
Nės jis trylika metų, man šuoliais jodinėjant,
Po balnu mane viežlybai į baudžiavą vilko.
Ogi manęs, želėk dieve, nuplikusio tarno,
Jau visai nei šis, nei tas susimilt nesupranta.“

Эх, когда я был молод (прошли золотые денёчки!),

Эх, когда я был молод, хвалили меня и ласкали
Все, начиная от бар, пастухом захудалым кончая.
И мальчуган голопузый, и даже грудной ребятёнок
Причкуса в голос одни прославляли, честное слово.
Ну, а когда поседел, надо мной насмехается всякий.
Да, старика солтыса позорят и барин и бурас.
Часто, садясь на свою облысевшую, тощую клячу
И на загривке её седину замечая, со вздохом
Вижу также свою, соседи, горькую старость.
Осенью поздней, когда по грязи я на барщину еду
И через силу бредёт по дорогам усталая кляча, —
Так мне жалко её, что порой обильные слезы
Льются ручьём по лицу, особливо ж, как барин обидит.
Так я жалею свою постаревшую, тощую клячу, —
Шутка ль, тринадцатый год мы в поездках с нею проводим,
Честно на барщину тащит меня в седле эта кляча.
А надо мной, стариком облысевшим, господи боже,
Сжалиться ни душе на ум досель не приходит».

„Ak, – tarė jam Enskys, ištraukęs didelį peilį, –
Mans brolau širdings, kam spardais taip susiraukęs?
Juk ir man taip jau kaip tau visai pasidarė.
Štai briedkriaunis šis, ant šalto preikalo kaltas,
Rodos, tikt žiūrėk, jau nei išdilusi delčia
Ar kaip baisiai koks nukumpęs vanago snapas.
Kad aš tai pamatau, tuojaus man giltinė rodos,
Kaip ją molioriaus ranka moliavodama rašo
Ir su jos dalgiu kumpu nugandina svietą.
Ak brolau, šio stungio, šio nudilusio stungio
Aš taipo gailiuos, kad kartais verkt nesiliauju.
Nės jis trylika metų, man dešras mėsinėjant
Ir lašinių šmotus ant svodbų mandagiai piaustant,
Kaip ugnis baisi per mėsą šokdavo kietą
Ir kaip koks smarkus bindokas skeldavo kaulus,
Kaip man Jons, Mikols ir Lauras liudymą duoda.

– «Ах, – отозвался Энские, ножище большой доставая, –
Что так хмуришься ты и сердишься, брат мой сердечный?
Право, ничуть не меньше терпел я горя на свете!
Видишь вот этот нож с костяной рукоятью: он кован
На наковальне холодной, он крив, словно месяц ущербный
Иль ястребиный клюв, и когда на него погляжу я,
Сразу мне видится смерть костлявая – точно такая,
Как расписали её маляров привычные руки:
С выгнутой острой косою, грозящей белому свету.
Ах, этот нож теперь истёрся и притупился,
Так я жалею его, что порой заливаюсь слезами.
Шутка ль? Тринадцать годов на колбасы мясо рубил он,
Толстого сала куски рассекал на весёлых пирушках,
Страшный, словно огонь, он по жёсткому мясу носился,
Словно топор дровосека, он кость раскалывал бычью.
Миколас. Йонас и Лаурас – свидетели этому, братец!

Bet negana dar bus; aš tau daugiaus pasakysiu.
Kad aš – tikt girdėk, brolau, kaip man pasidarė
Ir kaip būrams dar kasmets daugsyk pasidaro,
Kad jie sau karnų vyžas nusipint užsigeidžia
Ar ką šaudyt ir gardžiai pasikept prasimano.
Aš taip jau, kaip klaps, daugsyk, mudriai šokinėdams,
Medžių vogt tamsoj į šilo pašalį traukiaus.
Rods tiesa, mane varts daugsyk užklupo bedirbant
Ir, nesvietiškai kaip vagi visą nupliekęs,
Tuo nei koks baisus razbaininks atėmė kirvį,
Bet dar kuinpalaikį man jis niekados nenukinkė.
Nės aš ne taipo vogiau, kaip tūls balamūtas,
Kurs žiemos čėse, sau ką pasikirst užsigeidęs,
Vis tikt aužuolus, klevus ir drūtmedi vagia,
O paskui, parduot į miestą kur nusibastęs,
Tuo girtuodams ir šokinėdams prageria pelną.

Kad man kartais vogt ar ką išplėšt pasitaikė,
Rods ir aš nesigėdėjau ištiest savo ranką,
Ale ne sau vogiau, bet vis maloningiems ponams.
Juk žinai, kaip mums kasmets reik mezliavą mielą
Amtmonams mokėt, kad jie jau urdelį siunčia
Ar per vakmistrus skvieruot ir mušt nesiliauja.

Мало того — погоди, я ещё словечко добавлю,
Ты вот послушай, брат, что со мною случилось недавно,
Это из году в год случается с бурасом всяким,
Если он лапти захочет сплести из свежего лыка
Или же дичь подстрелить задумает, изголодавшись.
Я, как бурас любой, забираюсь в лес королевский,
Чтобы во тьме непроглядной рубить втихомолку деревья.
Правда, частенько меня накрывал объездчик суровый
И, надавав тумаков, как воришке, что пойман с поличным,
Силой топор у меня отбирал, как разбойник заправский, —
Не отпрягал он, однако, моей клячонки убогой…
Ибо, по правде сказать, воровал я с оглядкой и толком,
Не как иной баламут, что в тяжёлую зимнюю пору,
В лес забираясь с рассвета, дубы и клёны срубает,
В город отвозит их после и, с выгодой там продавая,
Тут же в шинок спешит, и гуляет, и пьёт бесшабашно.
Ежели что-нибудь мне иногда своровать приходилось,
Руки себе замарать, признаюсь, и я не стыдился.
Не для себя воровал — для господской милости только.
Ведь ежегодно, как знаешь, платить мы обязаны подать
Амтманам нашим, когда приказ они присылают
Или чрез вахмистров нас понуждают, плетей не жалея.

Ak širdings brolau, didei meldžiu, nepadyvyk
Ir nesakyk liesininkui, kad Obrys, mano bernas,
Medžių vogt ar ką pasikirst kas rudenį rengias.
Aš didei džiaugiuos, tą trūsą jo pamatydams;
Ir, kad žiemą jis ką vogt kuinus pasikinko,
Tuo jam dvi dešri kepti pasteliavęs duodu;
Ir, kad jis vartų n'išpantyts parveža medį,
Iš tikros širdies dar trečią pridedu dešrą
Ar, kad jau dešrų netekau, du dideliu sūriu.
Taipgi po tam, krūvelę viežlybai susivogę,
Į arčiausį miestą tuo parduot nukeliaujam
Ir, grašelius grečnus iš medžių sau nusipelnę,
Čyžę užmokėt kasmets kytriai pakavojam.
Taipgi, matai, ir medžių vogt reik razumo grečno.
Todėl ne dyvai, kad tūls glūpoks nabagėlis
Su tabaku draustu ar vogt į girę važiuodams
Gėdiškus vargus ar stroką sau pasidaro.
Bet ir toks dramblys tarp būrų tūls išsiranda,
Kurs, savo lašinius ir zopostą visą suėdęs
Ir už pyvą skinkį vos ar vandenį šliurpdams,
Iš bėdos nei žydas jau priviliot pasipratin.

Так-то, братец сердечный, пожалуйста, не удивляйся,
Пред лесником не обмолвись, что, дескать, Обрис, мой работник,
В лес деревья красть отправляется осенью каждой.
Радуюсь сердцем, как вижу, что вновь он хлопочет усердно,
Если ж зимой, на рассвете, своих он одров запрягает,
Жареных пару колбас я вручаю ему на дорогу,
А возвратился назад с добычей, неоштрафован —
Третью ему колбасу добавляю от чистого сердца,
Если же нет колбасы — два сыра больших добавляю.
Лесу этак собрав помаленьку изрядную кучу,
Тотчас я воз нагружал и в соседний город пускался,
Лес на базаре продав и хорошие выручив деньги,
Прятал барыш хитро, чтоб иметь на оброк ежегодно.
Нужно, дружок, научиться и красть-то умеючи, с толком.
Не потому ли иной простофиля-бедняк, отправляясь
В барский лес воровать иль табак запрещённый сбывая,
Только позор и беду непрестанно себе наживает.

Но и немало таких средь бурасов есть обормотов,
Вовсе никчёмных людей, что, сожрав припасы до крошки,
Вместо пивка глотая разбавленный квас или воду,
С горя обманом жить начинают, словно евреи.

Tam kieme, brolau, kur aš savo šutinu puodą,
Du tikru šelmiu pagrata su manim gyvena.
Vieną jų baudžiauninkai Pelėda vadina,
O kitam per pravardį jie praminė Slunkium.
Juk žinai, kaip būrai veik naujieną pramano,
Ypačiai, kad ant svodbų, jau durnai prisiriję,
Būriškai bei kiauliškai tuo pradeda šūtyt.
Dar vos metai, kaip aš tam kieme budavojaus;
Todėl kaip naujoks kaimynų visą rabatą
Ir jų klastą bei šelmystę dar nepažįstu.
Ale Pelėdos ir kaimynų peikiamo Slunkiaus
Aš jau taip baisėjuos, kad man padreba kiškos.
Tikt girdėk, aš tokius tau dyvus pasakysiu,
Kad plaukai tau ant žilos galvos pasišiaušys.

Слушай-ка, братец, в деревне, где ставлю горшок я на пламя,
Двое мерзавцев таких со мной соседствуют нынче:
Добрые люди Пеледой из них одного окрестили,
Ну, а другому, лентяю, присвоили прозвище — Слункюс.
Знаешь небось, до чего наш бурас додуматься может.
Да особливо, когда на свадьбе хватит хмельного
И принимается тотчас откалывать шутки по-свински.
Только сравнялся год, как живу я в этой деревне, —
Просто сказать новичок, и поэтому нравов соседских,
Также лукавства и плутней ещё не узнал — и, однако,
Эти Пеледа и Слункюс, которых не жалуют люди,
Столь мне страшны, что поджилки трясутся, когда их завижу.
Ты вот послушай, дружище, — о дивах таких ты узнаешь.
Что у тебя, старика, волосья подымутся дыбом.

Trobos smirdų tų, kad jas kas nor įsitėmyt,
Nei pūstynės iš visų pasalių pasirodo.
Kad aukštyn žiūri, pamatai sudriskusį kraiką,
Ant kurio sklypus nuplėštus klestina vėjai,
Kad viens čia, kits ten nuo stogo ritasi lopas.
Sparai po kraiku su čytais kliba supuvę,
O viduj visur po stogu latgaliai kaba,
Su plaušais ar karklais be negelių sukabinti.
Bet apačioj, kad jų butus biaurius pažiūrėsi,
Tuo juos kaip staldus ar kiaultvarčius pamatysi;
Nės, kur tikt žiūri, visur mėžinys pasirodo.
Juk jie ir kiaules stuboj laikyt nesigėdi,
Ir, kad jiems padyviji, dar barasi smarkiai.

Избы у этих скотов, когда б на них ни взглянул ты,
Землю хоть всю обшарь, не найдёшь запущенней, право;
Вверх подымешь глаза — увидишь дырявую крышу,
Ветер гуляет по ней, громыхая дранкою ветхой.
Исподволь — здесь и там — заплаты срывает гнилые.
Весь покосился конёк, и скрипят стропила, шатаясь.
Слеги косые торчат, посерёдке тяжко свисают,
Прутьями между собой скреплены или просто мочалой.
Если же в избы заглянешь, то страшно, братец мой, станет!
То ль это хлевы свиные, то ль грязные конские стойла,
Ибо, куда ни подайся, повсюду кучи навоза.
Ведь и свиней-то в жильё, подлецы, держать не стыдятся,
А подивишься тому — начинают ещё и браниться.

Andai tropijos, kad aš, Pelėdą sutikęs,
Jam dėl kiauliškos biaurybės ką pasakyti
Ir jį kaip kaimyns viernai bandžiau pamokinti.
Kiaulė, — tariau, — ką dirbi? ar visai nesigėdi?
Juk tu jau kaip šūdvabalis mėžinyj pasirodai;
Ar girdi, kaip šūdvabalis jau šūde pasmirdai.

Aš, užvakar tavo namus blogus pravažiuodams,
Kad įsitėmyčiau tikrai, tyčioms pažiūrėjau.
Taipgi bežiopsant man, arklys mano žvengti pradėjo,
Ir tuojaus tavo sparų viens nuo stogo nupuolė,
O langų vienam perdėm skylė pasidarė.
Štai tuojaus (girdėk tikrai, ką tau pasakysiu)
Tuo trys kiaulės daglos su daglais savo paršais,
Lyg kad skerdė kas, stuboj sužvigo nešvankiai
Ir pro langus ir plyšius kūliais išsirito.

Вот и намедни случилось: с Пеледой на улице встретясь,
Стал я за свинскую жизнь его отчитывать крепко,
На подобающий путь обратить неряху желая:
«Как ты, боров, живёшь? Иль стыд потерял без остатка?
Ты ведь, соседушка милый, как жук, толчёшься в навозе.
Ведь с головы до ног, как жук, пропах ты навозом.
Мимо хибарки твоей проезжал лишь позавчера я.
Стало уж, помню, темнеть; я нарочно остановился,
Долго глядел — как вдруг беспокойно заржал жеребец мой:
С крыши упав, стропило меня едва не задело,
Там же, где было окно, — проём один лишь остался.
Ты вот послушай, сосед, ты послушай, что дальше случилось:
Трое пёстрых свиней с поросятами пёстрыми вместе,
Будто бы резали их, провизжав истошно в хибарке,
Вдруг через окна во двор рванулись словно шальные.

Tokius aš dyvus kol gyvs niekados nesulaukęs,
Taip nusidyvijau, kad man plaukai pasišiaušė.
O tu neprieteliau skarots, su valkata Slunkium
Jau visai nesigėdita tarp žmonių pasirodyt?
Judu netinkat kiaulpalaikes kelias varinėti,
O dar kaip gaspadoriai su kitais gaspadoriais
Vis aukščiaus česnyj tarp svotų lendate sėstis
Ir tikt vis gardžiai smaguriaut ir maukt išsižiojat.
Ak, kad vyriausybė jau ant mūs susimiltų
Ir abu ben veik iš kiemo mūsų paguitų!
Juk jau mes visi smirdėt dėl juma pradėjom!
Taip aš jam pasakiau, bet jis, beržinį nutvėręs,
Tuo kaip koks razbaininks man per nugarą siekė
Ir, kad Selmas man ūmai nebūt pasitaikęs,
Rasi mane tuojaus ant vietos būtų numušęs.
Taigi matai, gaidau, kaip kartais vaids pasidaro,
Kad nenaudėlį kokį bandai pamokinti
Ir pamokindams jį kaip reik pasidrąsini koliot.“

Дива такого вовеки не видывал, честное слово,
Так изумился, что дыбом волосья на темени встали.
Ты, ободранец, с бродягой и пьяницей Слункюсом в паре,
Этак являться на люди ужель ничуть не стыдишься?
Оба вы даже пасти свиней дрянных недостойны,
А поглядишь, так всегда с честными соседями рядом.
Вы подле сватов спешите усесться на свадебном пире.
Все норовите вы сладко пожрать да попьянствовать вдосталь.
Если бы милость свою оказало начальство большое,
Шваль такую изгнав поскорей из нашей деревни,
Ибо мы все из-за вас понемногу пованивать стали».
Так я Пеледе сказал. Услышав это, схватил он
Палку и тотчас меня по спине огрел, как разбойник,
И не случись, по счастью, там подле Сельмас почтенный,
Верно, меня бы на месте тогда и убил этот изверг.
Вот какие раздоры бывают, когда по-соседски
Увещевать начинаешь разбойника чистосердечно
И побранить его малость решаешься, увещевая».

Taip besipasakojant ir svodbą visą bebaigiant,
Žemė su visais daiktais virpėti pagavo.
Tuo svečiai visi, dėl to didei nusigandę,
Iš svetlyčios būriškos kūliais išsirito,
Taip kad jų keli sveikas akeles išsibadė,

O kiti rankas ar kojas buvo palūžę.
O štai vis dėl niekniekių taipo nusitiko;
Nės Dočys su šešiais kūlikais, kuldami žirnius,
Taip nesvietiškai virkščias su spragilu daužė,
Kad ir pelės po šiaudais kribždėti nedrįso,
O svečių daugums sau negandas pasidarė.

Пиру конец приходил, и уже иссякли рассказы, —
Вдруг ходуном заходила земля от края до края,
Из-за стола повскакали испуга полные гости
И повалили на двор, теснясь, как стадо овечье,
Так что одни без глаз в толчее суматошной остались,
Ну, а другие — руками-ногами там поплатились.
Только была пустяковой причина переполоха,
Дела-то было всего, что Дочис и шестеро парней
Стали, горох молотя, колотить беспощадно цепами,-
Так колотить, что и мыши в подполье пищать перестали,
И половина гостей искалеченной вмиг оказалась.

Ale nedyvikitės, kalbas girdėdami tokias;
Juk Dočys kasmets, sulaukęs rudenį riebų
Ir iškuldams savo javus, išgandina svietą.
Ak, kiek butų jis taip dūkdams jau pagadino,
Ak, kiek girių bei kalnų jis parmetė pernai!
Tikt baisu klausyt, kad Lauras, Bleberio dėdė,
Savo bėdas ir išgąsčius mums pranešė kartais.
Juk vos kiaulstaldis, vos klėtis jam pasiliko,
Irgi namai jo nei pūstynė jau pasirodo.

Но не дивитесь, друзья, услышав речи такие,-
Ведь ежегодно Дочис, дождавшись осени тучной,
В ужас приводит соседей, когда молотить начинает.
Сколько, ох, сколько вреда натворил он нашей деревне,
Сколько домов своротил и лесов да холмов разметал он,
Страшно, ей-богу, когда принимается Блеберса дядя,
Лаурас, повествовать о своих злоключеньях несчётных, —
Клеть да свинарник последний едва у него уцелели,
Также и дом у него глядит развалиной жалкой.

Tas nešvankus darbs, kurį Dočys prasimanė,
Daug bei vaidų sviete padarė.
Ak, kiek viežlybų kaimynų, butą palikę,
Rudenyj ant laukų šaltų klydinėdami slapos
Ar, savo klumokus pasidarę, ubagais eina.
Tokius išgąsčius baisius vierni gaspadoriai
Tankiai provninkams aukštiems Karaliaučiuje skundė;
Ale provos vertos kaip reik niekados nesulaukė.
Žinom juk, želėk dieve, kaip mūsų gadynė
Ašaras išverktas po kojų mindama šypsos.

Этот Дочис, замышляя дела непотребные, смотришь,
Множество вызвал в деревне раздоров да несогласий,
Сколько достойных соседей, дома побросав и хозяйства,
Поздней осенней порою скитается в поле холодном
Или, вконец обнищав, с котомкой идёт побираться.
О бесконечных мытарствах хозяева, люди честные,
Судьям высоким не раз в Караляучюс жалобы слали.
Только суда всё ждут, справедливости всё не дождутся.
Знаем, прости господь, как лихое времечко наше,
Слёзы чужие презрев, над чужим измывается горем.

Ale nežinot dar, dėl ko Dočys nepateikia
Ir dėl ko jis taip kasmets su spragilu daužia.
Sako daug žmonių, kurie jo šiupinį valgė,
Kad jisai dėl to savo kreivą vargina skūnę,
Kad ben veik girtuot ir lėbaut ką pagamintų,
Nės jis, po Mikielės tuo klojimą bemušdams,
Laižos vis ir gurkščiodams į karčemą žiūri.
Taip po tam, su pačia kelias eiles nustekenęs,

Vėtyt skubinas ir, krepšus grūdų prisibėręs,
Tuo pasilinksmint ir prisikošt į karčemą bėga.
Bet moteriškė jo, linų grįžtes nusinešus
Ir slaptoms pardavus, vis paragaudama surbia.
O dar to negana, bet ir vaikus nusivedus
Ir į tėvo prieglobstį pasodinusi maukia.

Но почему Дочис так беснуется каждую осень,
Из году в год почему он цепами так громыхает?
Люди, которых не раз шюпинисом он потчевал вкусным,
Все говорят, что Дочис оттого в сарае бушует,
Что поскорей загулять да забражничать рвётся, пьянчуга.
После Михайлова дня, на току орудуя цепом,
Слюни глотает, наглец, на корчму косится умильно…
Жёнку на помощь позвав, обмолотит кладей немного,
Веет поспешно потом, насыпает корзины до края
И подаётся в корчму — пропивать урожай без остатка.
Трёпаный лён в кабак относит женка Дочиса
И, за бесценок отдав, к бутылке спешит приложиться.
Мало того — и детишек приводит, ничуть не смущаясь,
Прямо в кабак к муженьку, а сама — опять за бутылку.

Pernai tropijos, kad Kaspars, Bleberio tarnas,
Atlankyt Plaučiūną su Dočiu nukeliavo;
Bet ir Krizas su Lauru ten jau nuvažiavo.
Nės Plaučiūns juos ant krikštynų buvo pakvietęs
Ir visus kaimyniškai primylėt pažadėjęs.
Štai tuo bažmas sukviestų svečių susirinko,
Bet ir nekviestų kaimynų daug susibėgo.
Kaspars kloniojos, dosningą Krizą pamatęs;
Ale Dočys, nei dumčius koks pilvots įsirėmęs
Irgi nešvankiai rėkaudams, česnyj pasirodė.
Nės jisai jau vėl, prieš Mertyną smaguriaudams,
Laižės vis ir gurkščiodams prisiėst išsižiojo.
Tuo Plaučiūns daug spirgintų bei šutintų valgių
Irgi ragaišių per tarnus atnešdino kūmams;
O svečiai visi, margoms eilėms susisėdę,
Lašinius ir jukas Plaučiūno girdami valgė.

В прошлом случилось году: к Плаучюнасу в дом на крестины
Блеберса добрый батрак, уважаемый Каспарас, вместе
С наглым Дочисом пошёл, и туда же поехали Кризас
С Лаурасом; в гости к себе Плаучюнас соседей сзывая,
Выставить пообещал в изобильи напитков и снеди;
Званых гостей у него собралось без числа, но немало
Понабежало к нему и соседей неприглашённых.
Щедрому Кризасу в пояс поклон наш Каспарс отвесил,
Ну, а пьянчуга Дочис, подбочась, как советник пузатый,
И непристойно крича, на пирушке честной показался;
Клюкнуть уже успел пред Мартыновым днём он изрядно;
Слюни глотая, наглец на яства косился умильно.
Блюда хозяин поставил с варёным и жареным мясом,
Также радушно поднёс кумовьям он булок пшеничных.
Гости честные в ряд за стол хозяйский уселись,
Ели, дружно хваля, кровяную похлёбку и сало.

Taipgi bevalgant ir kaimyniškai besidžiaugiant,
Lauras su Dočiu pamaži nurnėti pagavo
Ir dėl kiaulstaldžių pargriautų ir pagadintų
Bartis irgi nešvankiai koliotis užsimanė.
Stui, nešvankėli, ar prots česnyj susipriešyt
Irgi bevalgant kiaulstaldžių biaurių paminėti?
Ale dabokit dar toliaus, kas čia pasidarė
Ir ką Krizas, sens žmogus, mums pranešė pernai.

Благопристойно пирушка текла,— вдруг Лаурас с Дочисом
Стали ворчать друг на друга и злобно порой огрызаться,
Из-за свиных хлевов разорённых стали друг друга
Мало-помалу она осыпать безобразною бранью.

Не забывайся, мужлан, ты в гостях, на пирушке хозяйской,
Время нашёл вспоминать о дрянных каких-то закутках!
Ну, а теперь, друзья, расскажу, что позже случилось,
В прошлом году, — о том уважаемый передал Кризас.

Pyvo tris bačkas Plaučiūns, brangiai nusipirkęs,
Į svetlyčią per tarnus įnešdino greitai.
Bet Enskys, jo klapčius, daug paliavotų kragų,
O moliavotų stuopų dar daugiaus sugabeno.
Štai svečiai tuojaus, išmaukę didelę bačką,
Būriškas ir kiauliškas šnektas prasimanė.
Žinot juk, kaip glūpas būrs, permier prisirijęs,
Zaunyt ir durnus niekus išpliopt nesigėdi.
Bet kiti jau vėl dėl kiaulstaldžių pagadintų
Ir dėl kiaulių numuštų bylinėti pradėjo.
Štai tuojaus iš žodžių, kiauliškai pasakytų,
Pekliškas razbajus ir niūkims pasikėlė.

Доброго пива купив за немалую цену три бочки,
Слуг Плаучюнас позвал и велел внести их в светлицу.
И притащил Энскис, слуга его, целую гору
Кружек пивных расписных и муравленых ёмких кувшинов.
Гости бочонок большой во мгновенье опорожнили,
Хмель зашумел в головах, языки у всех развязались,-
Знаете сами небось, до какой околесицы может
Договориться крестьянин, лишку хватив на пирушке.
Из-за убитых свиней и свиных развалившихся хлевов
Также у прочих дошло наконец до нешуточной ссоры.
Гости хмельные в карман за скверным не лазили словом,
Адский галдёж поднялся, а затем и дракой запахло.

Rods, kad būrs čestavots jau proto viso netenka,
Štai tuojaus jau ir padorumo viso netenka.
Juk ir pats Plaučiūns, kur česnį buvo pakėlęs,
Taip nešvankiai su macnum pyvu susipyko,
Kad šviesoj krapinėdams jau šviesos nepažino.
Ar dyvai, kad svotai jo, dosniai primyleti,
Kūmų viežlybų kalbas kalbėt nenumanė?
O dar to negana; klausykit, kas pasidarė.

Бурас, известно, хлебнёт — и рассудка лишается вовсе,
Прямо сказать — на глазах человеческий образ теряет.
Ведь Плаучюнас-то сам, затеявший эту пирушку,
Даже и тот до того с напитком крепкий повздорил,
Что по светлице плутал, не взвидя белого света.
Диво ль большое, что гости, которых он потчевал щедро,
Скромных, разумных речей за столом вести не сумели?
Мало того — извольте послушать, что дальше случилось:

Kubas su Lauru, garbingo Kasparo žentu,
Ir Mikolas, ant kiemų statyts pakamorė,
Su kitais draugais ant Dočio umaru šoko.
Štai tuojaus visi, kaip kudlas koks susivėlęs,
Raičiojos ant aslos ir taipo mėsinėjos,
Kad viens nosies, kits ausių girdėt nepalaikė.
Ypačiai Domį taip nesvietiškai pagadino,
Kad jį jo vaikai lovyj vos parnešė gyvą.

Кубас и Лаурас, бывший почтенному Каспарсу зятем,
Также и Миколас — был он приказчиком в нашей деревне,-
В помощь товарищей взяв, напустились вдруг на Дочиса.
Сбились они в клубок и в драке ожесточённой
Рухнули на пол вдруг и, катаясь, тузили друг друга
С пылом таким, что один, говорят, там без глаза остался,
Уха лишился другой; особливо ж Дочису попало:
Полуживого в корыте домой унесли его дети.

Pimė, jo pati, dėl to didei nusigandus,
Pusgyvį vyrutį vis globodama verkė

Ir jo kiaušę permuštą mazgodama šluostė.
Tuo kaimynkos iš visų pašalių susibėgo
Ir visokių liekarstvų macnių sugabeno.
Gryta daug žolių šlovingų bei debesylų,
O Selmykė su Berge tepalų padarytų
Domį vėl gaivint ir gydyt atnešė greitai.
Tas žoles smarkias čerpėj maišydama Jekė
Gailių dar ir lenkiško daguto pridėjo.
Tuo stuba dėl to visa smirdėti pagavo,
O Dočys jau vėl pamaži kribždėti pradėjo.

Пиме, Дочиса жена, смертельно перепугалась,
Над муженьком полумёртвым, рыдая, она хлопотала
И с головы его отмывала кровь, причитая.
Крики и плач услыхав, отовсюду соседки сбежалась,
Всяких лекарств принесли, вдобавок добрых советов.
Грита — и девясила и прочих травок достала,
Приволокли Сельмике и Берге мазей целебных.
Дружно пошли хлопотать над больным сердобольные бабы,
Яке настойку из трав в черепке развела хорошенько,
Польского дёгтю в неё да багульника чуть подмешала,
Так завоняло в избе, что и мёртвый, кажись, не стерпел бы.
Вот на лежанке Дочис понемногу стал шевелиться.

Pimė, jo moteriškė, su kitoms moteriškėms
Džiaugės ir Dočiuką su gatavais tepalėliais
Mostyt tuo ir jo žaizdas aptvert susirinko;
Bet Pakulienė jį žadėt pas patalą stojos.
Štai Dočys tuojaus, tepalų smarkumą suuodęs
Ir žyniavimo bobiško baisumą pajutęs,
Su sykiu nei koks perkūns iš patalo šoko
Ir, iš papykio nusitvėręs didelį strampą,
Bobas su visokiais bobiškais tepalėliais
Iš stubos prismirdintos tuo išmušė laukan.
O paskui stubos rykų daugumą sudaužęs
Ir čerpes su liekarstvoms pro duris išmėtęs,
Tuo vaikus, kurie jo stervą buvo suvalę,
Dūkdams vis ir rėkaudams kone numušė smirdas.

Пиме, Дочиса жена, и соседки повеселели,
Мазью стали они усердно смазывать раны.
Голову мужу скорей начала перевязывать Пиме,
А Пакулене взялась заговор прочитать подходящий.
В то же мгновенье Дочис, вонючее зелье унюхав,
Неописуемый страх почуял перед знахарством бабьим, —
Тотчас придя в себя, с постели молниеносно
Он соскочил и дубиной большущей вооружился,
Всех сердобольных баб с их бальзамами бабьими вместе
Вышиб он в ярости вон из избы, насквозь просмердевшей,
Ну а потом, перебив немало всякой посуды,
Все черепки с лекарством схватил и за дверь пошвырял он
Бедных детей, что его, как падаль, домой притащили,
Злобно ворча и бранясь, едва не прикончил, поганец».

„Ak, — tarė Selmas, — bengi paliauk su pasaka savo!
Jau per daug dyvų, jau ausys mūsų praskudo.
Ak, kur dingot jūs, lietuviškos gadynėlės,
Kaip dar prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo
Ir nei kurpių, nei sopagų dar nepažino,
Bet vyžas, kaip būrams reik, nešiodami gyrės.
Tai dar viežlybų kaimynų beigi bičiulių
Gėdėtis ir juos išpeikt nei viens neprivalė.
Ogi dabar, žėlėk dieve, tikt gėda žiūrėti,
Kad lietuvninkai kaip vokiečiai sopaguoti
Ar su kurpėms rudenyj ant česnių pasirodo.

— «Хватит! — вымолвил Сельмас. — Довольно этих побасок,
Уши болят от чудес, а нет ни конца им, ни краю.
Эх, и куда ушли времена, когда ещё пруссы

Ни одного словца по-немецки сказать не умели,
А башмаков иль сапог не знавали, и хоть каждодневно
Лапти носили простые, да всё не могли нахвалиться.
Где времена, когда ни друзей, ни соседей почтенных
Не было нужды бранить и стыдиться за них постоянно.
Нынче ж, скажу не таясь, глаза бы мои не глядели.
Осенью брат наш, литвин, в башмаках, а то и в сапожках.
Будто бы немец заправский, приходит, глядишь, на пирушку.

Klumpės, kaip mes vokiškai kalbėdami sakom,
Rods taip jau lietuvninkams nešiot nepritinka;
Nės ir jas mūsų tėvų tėvai girt nenorėjo;
Ale sopagų, jau prancūziškai sudabintų,
Ir puikokų kurpių gėdėjos paminėti,
Ik prancūzai jau po tam pas mus susibastė
Ir prancūziškas manieras mus pamokino.

Нам-то, литовцам, пожалуй, носить негоже и клумпы —
Так по-немецки у нас деревянная обувь зовётся, —
Деды и прадеды наши не слишком её уважали.
Знаем, стеснялись они поминать башмаки, точно так же
И на французский манер щегольские полусапожки.
Это французы, когда понаехали к нам отовсюду,
Вскоре привычкам своим и обычаям нас научили.

Tėvai mūsų seni, pirm to neturėdami šiuilių,
Rods nei pybelių, nei katgismų dar nepažino.
Jie tikt iš galvos šventus mokinosi mokslus,
O štai tikt daugiaus garbėj laikydavo dievą
Ir šventoms dienoms bažnyčion bėgdavo greitai.
Ogi dabar, žėlėk dieve, tikt gėda žiūrėti,
Kad lietuvninkai, prancūziškai pasirėdę,
Į bažnyčią vos išgirst ką kyšteria galvas,
O paskui tuo žaist ir šokt į karčemą bėga.
Taip po tam keli tarp jų, aklai prisimaukę,
Būriškai bei kiauliškai tuo pradeda zaunyt
Ir, bažnyčioj išgirstų neminėdami žodžių,
Būriškas šūtkas glūpai taisydami juokias.
Bet kiti, vaidus dėl niekniekių prasimanę
Ir girti kits kitą prie galvos nusitvėrę,
Nei razbaininkai ant aslos vemdami tąsos,
Kad vemalai visur per visą karčemą teška.
Tai biaurybė, kad plaukai pasišiaušia begirdint.

В древние те времена наши прадеды школ не имели,
Знать не знали они букварей и святого писанья,
Вероученью тогда изустно их всех наставляли.
А ведь усердней, поди, почитали прадеды бога
И, подымаясь до солнца, по праздникам в церковь спешили.
Нынче ж, помилуй господь, до какого мы дожили срама:
Все разряжены в лоск на манер французский, литовцы
Лишь на минутку-другую, глядишь, покажутся в церкви
И поскорее в корчму гулять да бражничать мчатся.
Многие образ людской там теряют, перепиваясь.
И начинают болтать по-свински и по-мужицки,
В церкви слышанных слов никто и вспомнить не хочет, —
Шутки мужичьи одни, да брань, да хохот немолчный…
По пустякам во хмелю затевая ссоры частенько,
Тут же они меж собою вступают в жестокие драки,
Хуже разбойников, право, катаются с воплями, с бранью
По полу, в грязных плевках и в лужах пролитой водки.
Ну же и мерзость пошла! Как подумаешь — волосы дыбом.

Bet dar to negana. Taipo girtuodami tėvai
Ir vaikus glūpus su savim į karčemą velka,
Kad ir juos tuojaus iš mažo surbt pamokintų;
O paskui, vaikams bepamatant, pešasi tėvai,
Kad plaukų visur išplėštų sukasi pluoštai.
Ak jūs neprieteliai, jūs išpiudyti bedieviai!

Ar nesibijotės, kad jus pekla prasivėrus,
Taip šventas dienas atšvenčiant, tuo pražudytų?
O nesigėdite tarp krikščionių dar pasirodyt?

Но не довольно того! Отцы-то пьянствуют сами
И ребятишек в кабак приводят, как в гости к соседу, —
Вот и потомство своё приучают к вину с малолетства.
В драку вступают отцы на глазах у своих ребятишек,
Клочья волос летят, и кровь потоками хлещет.
Нет угомону на вас, беспутники и нечестивцы,
Иль не страшитесь, что бездна разверзнется вдруг перед вами,
Пламя пожрёт вас всех, оскверняющих праздники божьи?
Или не совестно вам среди христиан появляться?

Kad kunigai vaikus į šiuilę ragina siųsti
Ir kad šulmistrams reik kokį pinigą kyštert,
Ak, tokių visur glūpų niurnėjimų randas;
O paskui, kad amtmonams jau reik pasipurtint
Ir jie vakmistrams išpantyt urdelį siunčia,
Štai tuo iš visų pasalių barzdoti bepročiai,
Lyg kad jau dangus pargrius, tikt rėkia, tikt rėkia;
Ir po tam su šulmistrais, biednais nabagėliais,
Kad jie savo dalyko nor, dar barasi smirdai
Ir besibardami daug glūpų daiktų sumeluoja.

Если священники в школу детей посылать заставляют
Или пора подошла заплатить учителю деньги —
Что за нытье стоит и какой галдёж несусветный?
А напоследок, когда рассерженный амтман прикажет
Вахмистрам без разговоров описывать всех виноватых,
Вмиг набежит толпа недоумков долгобородых
И завопит, завопит, будто миру конец наступает,
И, в пререканья вступив с несчастными учителями,
Примется их шельмовать за одно лишь то, что дерзнули,
В горькой нужде изныв, потребовать кровные деньги.

Paikius, glūps žmogus, vargu Tėvemūsų mokėdams,
Ir jo pusbrolis, nei tiek skaityt negalėdams,
Šulmistrus ir šiuiles dar išpeikt pasidrąsin.
Tikt dyvai klausyt, kad juodu pradeda zaunyt.
Ans, savo vaikinius kaip drimelius užaugindams
Ir juos lepindams bei valią visą beduodams,
Vaidijas su šulmistrais ir barasi keikdams,
Kad jiems kartais iš bėdos per subinę drožia;
O šisai, iš viso jau velniop besisukdams
Ir vaikus glūpus į šiuilę siųst nenorėdams,
Peklai ant garbės juos užaugint pažadėjo.

Пайкюс, известный дурак, «Отче наш» не знающий даже,
Также и братец его двоюродный, круглый невежда,
Смеют в голос бранить наставников скромных и школы.
Диву даёшься, когда начинают болтать эти люди,
А поглядеть — так один сыновей обалдуями сделал,
Им угождая во всём, их воле потворствуя слепо;
Чуть не убить готов он учителя, если порою
Лодырей тот ремнём стеганёт, потерявши терпенье.
Ну, а другой — совсем свихнулся: ребят неразумных
В школу он ни за что посылать не желает, как будто
Дал себе крепкий зарок — их вырастить пеклу на славу.

Paikius ant lytaus, ant giedros barasi Vauškus.
Viens taria per šviesu, kitam negana šviesybės;
Šiuilė šiam negera, o ans pamokinimą peikia.
Šulmistras keliems per jauns ir nieką nemoka,
O kitiems tas pats per sens ir blogs pasirodo.
Jis giedodams šiam per daug nemandagiai rėkia,
O kitam tas pats kaip reikia rėkti nemoka.
Viens taria per drąsus, o kits jį lėtą vadina.
Taip kunigams, taip šulmistrams visur pasidaro,

Kad šventoms dienoms nenaudėliai, susibastę
Ir nesvietiškai glūpas akis užsipylę,
Nuo kunigų bei nuo darbų jų pradeda zaunyt.
Bet ir viežlybų krikščionių dar nepristokom,
Dar yr tarp lietuvninkų viernų gaspadorių,
Ir dar tėvų yr, kurie, mylėdami dievą,
Patys ne tiktai šventai ir mandagiai elgias,
Bet ir savo namus kaip reik pridabodami valdo.

Пайкюс ненастье бранит, а Ваушкус вёдро поносит,
Этому слишком светло, а тому недостаточно света,
Школа плоха одному, а другому несносно ученье,
Молод ещё для одних и учить не умеет учитель,
Он для других староват и детей наставлять не годятся.
Эти твердят: неприлично орёт он, псалмы распевая;
Те говорят: не поёт, а всегда бубнит что-то под нос.
Боек одни кричат; тихоня молвят другие.
Вот как по праздничным дням, в корчме с утра собираясь,
Учителей-горемык и священнослужителей скромных
Пьяницы и пустоболты ругмя ругают повсюду.
Вот как о них толковать эти головы дурьи дерзают!
Всё же, скажу, и средь нас не перевелись христиане, —
Между литовцев найдётся хозяев добрых немало,
Высокочтимых людей, что пример являют соседям:
Сами живут благонравно и, смотришь, также умеют
Домом своим управлять и почтенье внушать домочадцам.

Taip ant svieto jau, kaip mums švents praneša raštas,
Vis pulkelis miels viernųjų buvo mažesnis,
Kaip ans durnas pulks nelabųjų irgi bedievių.
Bet dar ir toliaus taip bus, kad sviets pasidūkins
Ir apjeks, visai velniop rėžtu besisukdams.
Sako juk visi šventųjų prarakų žodžiai,
Ir pons Kristus pats bei jo mokintinių raštai,
Kad prieš svieto pabaigą bus toks sumišimas,
Kad baisybės pekliškos visur išsiplatins
Ir tarp ponų taip, kaip tarp glūpintelių būrų,
Tikt klastas ir šelmystes išvysime kyšant.
Matom juk kasdien, kaip jau visur karaliaudams
Velnias vis baisiaus piktųjų suvelia kudlą.
Ak broleliai, ak, išbuskim irgi pajuskim,
Kaip visur išsižioję peklos plyšta bedugniai
Ir kaip pekliškas razbaininks mūsų gadynę
Su savo mokslais velniškais sudūkina visą.
Vogt, klastuot, išplėšt ir su gvoltu pasisavint,
Šelmystes pramanyt, kekšaut bei dievą paniekint
Ir, kas dar daugiaus yr pramonių, pramanyti, —
Tai visa viera baisingos mūsų gadynės.
Ak, katrul jau čėsas mūsų nelabs nusibastė!

В мире уж так повелось, гласят святое писанье,
Непогрешимых людей, перед господом чистых душою,
Меньше бывает всегда, чем безбожников закоренелых.
Так оно будет и впредь: побеснуется несколько мир наш
И, напоследок ослепнув, к чертям на рога понесётся.
Ведь говорят нам слова пророков ветхозаветных,
Также господь наш Христос и апостолов рукописания
Все об одном: что когда конец приблизится миру,
Столпотворенье пойдёт, из ада чудища выйдут,
И средь господ просвещённых, а также бурасов тёмных
Только коварство и подлость откроются нашему взору.
Разве мы изо дня в день не видим, как, властвуя всюду,
Лохмы безбожникам злым всё страшнее черти ерошат.
Ах, опомнимся, братья! Почувствуем сердцем, как страшно
Бездна ада на нас ощерилась, и поразмыслим,
Сколь богомерзким ученьем своим людей баламутит
Время тяжкое наше, исчадье силы нечистой!

Грабить, бесчинствовать, лгать, ненасытной корысти в угоду,
Ближних своих предавать да оплёвывать имя господне —
Вот непреложный закон, вот первая заповедь нашей
Трижды проклятой поры — лихолетий, нас посетивших.
Ах, куда ни гляди, всё навыворот, всё наизнанку.

Mes lietuvninkai, pirm to nepažindami svietą,
Dingojom vis, kad tik šveisteris ir prancūzas
Žmones su svetimais savo mokslais moka supainiot
Ir kad vokiečiai tikt vogt ir keikt nesigėdi.
O štai tarp lietuvninkų taip jau nusiduoda,
Kad lietuviškas tūls smirdas irgi bedievis
Lietuvai ir lietuvninkams mums gėdą padaro.
Ak lietuvninkai, širdingi mano broleliai!
Ben nesilyginkim akliems šio svieto bedieviams
Ir n'atbokim, kad į mus žiūrėdami bloznai
Šypsos ir glūpus štukius pramanydami juokias.

Мы коренные литовцы, не зная белого света,
Простосердечно считали, что только француз да швейцарец
Свет и честных людей мастаки околпачить, опутать;
Думали мы: сквернословить и красть лишь немцам не стыдно.
А на поверку, друзья, и меж нами людишек немало
Водится подлых, безбожных, таких немало мы видим,
Что и Литву и литовцев позорят своим поведеньем!
Ах, земляки дорогие, мои сердечные братья,
Уподобляться не станем слепцам — безбожникам грубым,
Будем спокойны, когда, с ухмылкой презрительной глядя,
И зубоскалят они, и над нами глумятся бесстыдно.

Taigi dabar aš jus, kaip viernas klaps pamokindams.
Nei prancūziškai, nei vokiškai nepagyriau;
Bet tikt būriškai, kaip draugas jūsų pažįstams,
Jums tiesiog pasakiau, kaip man pasakyt pasitaikė.
Ant jau Mertyno nulydėjom didelę šventę,
O adpentai su Kalėdoms jau prisiartin.
Vei kaip iš vakarų tamsių rūstaudami vėjai
Vėl jau į žiemius bei rytus pradeda trauktis
Ir žiemos šalčius pas mus į Lietuvą varo.
Ak, jau skubinkimės ben veik stubas pasišildyt
Ir gaspadoriškai stonias galvijų paprovyt,
Kad, minau, nieks, nei paršuks turėts nesušaltų.
Juk kiekviens galvijas, kad jau randasi gruodas,
Mūsų rūpesčiams vierniems pasiliecavodams
Ir į saujas mūsų žiūrėdams, pašaro laukia.
Duokim, bet vis su protu padalydami duokim;
Nės ateisiančios žiemos ilgumo nežinom
Ir, kiek prieš šventas Velykas liks, nenumanom.
Ar ne gerai, kad, jau vargingai peržiemavoję,
Grečną zopostėlį mums dar pasilikusį matom?

Видите, братья, что вас, как верный слуга, поучал я.
Вас не хвалил я ничуть по-французски иль по-немецки,
Но по-крестьянски, как друг, сказал, не таясь, не лукавя.
Всё, что хотел, напрямик я сказал вам так, как сказалось.
Вот мы с весельем великим Мартынов день проводили,
Вот и рождественский пост, а за ним рождество наступает.
С хмурого запада вновь задули суровые ветры,
Вновь на востоке они и на севере забушевали
И холода и метели в Литву к нам издали гонят.
Скоро уж печи топить — дровец заготовьте побольше,
Да не забудьте хлева по-хозяйски проконопатить,
Чтобы от стуж не погиб поросёнок махонький даже.
Дело известное: только холодный декабрь наступает,
Жить без наших забот повседневных скотина не может,
Жалобно на руки смотрит, ждёт сытного корма и пойла.
Ну, так дадим же с умом всё то, что скотине потребно,
Ибо не знает никто, надолго ль затянется стужа,
С пасхой придёт ли тепло, никто предвидеть не может.

Плохо, что ли, когда, одолев суровую пору,
Вдруг поглядишь — ан запасов к весне осталось немало.

Nugi dabar jau skirkimės ir vapėti paliaukim!
O dieve duok mums, kad, šventes visas nulydėję
Irgi sulaukę Naujmetį bei šventai pasidžiaugę,
Vėl susikviestumbim kaimyniškai pasisveikint.“

Что же — кончить пора! По домам разойдёмся, соседи,
Так ниспошли нам, господь, достойно праздники справить.
С тёплой радостью в сердце дождаться нового года,
Снова в гости позвать по-добрососедски друг друга».

Žiemos rūpesčiai

Зимние заботы

Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta,
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atlekia gandint.
Vei kaip ant ežerų visur langai pasidaro,
Lygiai kaip antai stikliorius įdeda stiklą.
Taipgi namai žuvių, kur varlės vasarą šventė,
Dėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia
Ir tamsoj miegot kiekvieną gyvuolį siunčia.
Ant laukus žiemys jau taip nugandino bardams,
Kad ir balos, ir klampynės pradeda rauktis,
Ir purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja.
Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai,
Nei koks būbnas įtemptas dėl pašalo trinka,
Taip kad garsas jo toli galvoj atsiliepia.
Taipgi dabar jau vėl sviets sveikint pradeda žiemą.

Вот уже злая зима опять, бушуя, вернулась.
Сивер встопорщенный мчится и всё живое стращает.
Глянь — озёра, пруды и реку поверх затянуло,
Будто в них стёкла повсюду стекольщик вставил искусно.
Глянь — обиталища рыб, где лягушки лето справляли,
Словно бронёй от зимы сварливой отгородились.
Всякая тварь ко сну там отходит нынче в потёмках.
Сивер сердитый в полях расходился так, что повсюду
Закаменели болотца, морщины пошли по трясинам,
Хлюпать осенняя грязь под ногами вдруг перестала.
Если теперь понесётся телега вскачь по дороге —
Словно тугой барабан по морозу гремит и грохочет,
И, далеко раскатясь, тот гул в голове отдаётся.
Время вновь подошло — встречать и чествовать зиму!

Ak, jau ben ir reik; Kalėdų didelė šventė
Artinas, ir atpentai nor poryt pasibaigti.
Rudenis, ans dramblys, per daug nemandagiai drėbdams
Ir besivoliodams purvuos, mus vargino skaudžiai.
Kožnas į klumpes ir į vyžas įsinerdams
Koliojo jo darbus ir jo madarą skystą.
Bet ir ponai, su šulnais skraidydami žirgais
Ir su poniškais kasdien viešėdami rėdais,
Beteškant purvams, nešvankų rudenį peikė.
Todėl į žiemius visi žiūrėdami žmonės
Ir sausos žiemos didei gi belaukdami skundės.

Ах, ведь и вправду пора: до святок — самая малость,
Минул рождественский пост, — ему конец послезавтра.
Осень слоном по ненастью шаталась с зари до заката,
Брызгала слякотью липкой и нам досаждала жестоко;
Каждый, когда обувал сапоги или клумпы сырые,
Осень люто бранил за эту мокрядь и слякоть.
Но и богатые баре, что скачут в каретах блестящих,
Изо дня в день по гостям разъезжают, наряжены пышно,
Тоже ругмя-ругали гнилую, мерзкую осень.
Вот почему неотступно на север люди глядели

И с нетерпеньем великим сухой зимы дожидались.

Taip visiems bedejuojant, štai pažars pasidarė,
Ir tuo žiemiškai visur plezdendami vėjai
Darganas į pietus, kur gandras miegti, nubaidė.
Iš debesių žiema po tam iškišusi galvą
Nei pikčiurna kokia su šūdais rudenio barės
Ir su šalčiais jo šlapius nudegino darbus,
Ik ji jau po tam, rudens iškuopusi šūdus,
Ant visų baisių klampynių kelią padarė
Ir su rogėms vėl skraidyt ir čiuožt pamokino.
Taipgi dabar, kur mes pirm to pavasarį linksmą
Šventėm ir žoleles jo margas sau nusiskynėm,
O paskui džiaugsmus šiltus su vasara baigėm,
Ten pusnynai su baltais kalnais pasidarė,
Ir žiema sau žiemiškas kvietkas nusipynė.

Вдруг пред закатом в полнеба заря занялась-запылала,
И замахали крылами смелей студёные ветры.
Непогодь к югу погнали, где аисты спят на зимовках.
Из облаков густых карга зима показалась,
Высунув голову, стала со слякотью скучной браниться,
За ночь из всех закоулков морозом вывела мокрядь,
Выгребла дрянь со дворов, чистоту навела на дорогах.
По зыбунам вековым протянула надёжные гати
И на санях по снегам лететь и скользить научила.
Там, где, в преддверья весны, мы бродили с радостью в сердце,
Благоуханные травы и цветики пёстрые рвали,
Там, где весёлого лета погожие дни проводили, —
Сколько зима ухитрилась насыпать белых сугробов,
Зимних сколько цветов взрастила-понасажала.

Tikt dyvai žiūrėt, kaipo barzdoti pušynai
Su savo kuodais garbanotais visur pasirodo
Ir nei puderuoti ponačiai stov įsirėmę.
Bet kiti nuogi žagarai, tarp jų pasilenkę,
Būriškai po stogais jų stovėdami dreba
Ir raudodami kloniojas, kad švilpina vėjai.
Bet ir kerplėšos, ir jų kelmai nusigąsta,
Kad smarkus žiemys savo dumples pradeda judint
Ir besijodams nei su sietais dulkina sniegą.
Taipgi dabar visi pasislėpę gyvuoliai girių,
Vėtroms vėl berūstaujant ir sumišai besipiaujant,
Čia viens urvoj sau šiltai, kaip gal, įsigūžtęs,
O kitsai tenai ant virbo tupi besnausdams.

Смотришь — и диву даёшься: сажённые бороды свесив,
Перед тобою стоят в кудрях, осыпанных снегом,
Высокорослые сосны, как баре в напудренных буклях.
Голый кустарник дрожит и гнётся меж них по-крестьянски,
Спину ломает в поклонах, челом к земле припадает,
Жалобно стонет, когда налетают ветры внезапно.
Но бурелом, и пни, и коряги также страшатся,
Только мехи раздувать начинает сивер жестокий,
Будто сквозь редкое сито колючий снег просевая.
Пусто в лесной глубине: ни зверей не видать, ни пернатых!
В пору, как полчища вьюг воюют, яростно воя,
Кто до весенних дней угнездился в тёплой берлоге,
Кто на зальдевшем суку иль в дупле примостился и дремлет.

Taip, paukšteliai mieli, jums, taip mums pasidarė,
Ir taip jus, kaip mus, baugin braškėdami šalčiai.
Jus žiemos smarkums į šaltą girę nubaidė,
O mus jis besipurtindams į stubą suvarė
Ir pasišildyt nusiuntė pas kakalį mielą.
Jūsų namai šalti, kur jūs miegodami krankiat,
Jus negal užstot, kad jus išgandina šalčiai.
Mes, kad mus žiemys per daug užkibina grumzdams,
Tuo kytriai pasislėpt į šiltą pašalį lendam

Ir tykiam kampe, žiemos n'atbodami keršto,
Sau tikrai sušilt karštoką viralą srebiam.
Ak jūs vargdienėliai, jūs nuogi nabagėliai,
Ar būt šilts, ar šalts, ar kits koks dyvinas oras,
Rūbais vis vienais ir tais pačiais užsidengiat.
Mes, kad saulė mums per daugel nugarą kaitin,
Tuo trinyčius ar kobotus vėsius užsimaujam;
O kad jau per daug žiemys mus pradeda dovyt,
Štai tuojaus vilnoną sau ir kailinius imam
Ar tikrai sušilt į šiltą patalą kopam.

Милые пташки, и вам, как нам, приходится туго.
Так же и нас донимают морозы трескучие нынче.
Вас в ледяные леса загоняют метели и стужи,
Нас же, пробрав до костей, понуждают в жильё забираться,
К печке любезной присесть и греться целыми днями.
Ваши холодные гнёзда, в которых пищите спросонья,
Ни от снегов, ни от стуж защитить не могут нисколько.
Мы, если лапою за нос зацепит нас походя сивер,
Прячемся тотчас в жильё, в уголок забиваемся тёплый,
И над сердитой зимой потешаемся дружно и смело,
И поглощаем похлёбку горячую, сидя у печки.
Ах, бедняки-горемыки, всегда вы голы и босы.
Стужа иль зной на дворе, ненастье ль стоит или вёдро,
Но постоянно на вас одна и та же одежда.
Мы, если жаркое солнце нам спины порой припекает,
Лёгкий кафтан надеваем, спешим безрукавку накинуть,
Если ж, бывает, мороз начинает щипать не на шутку,
Тут мы, конечно, кожух со стены поскорее снимаем
Или немедля в постель влезаем, чтоб лучше согреться.

Taip bedūmojant man, vilkai gaujoms susibėgo
Ir, kaip pratę yr, tamsoj tralalaudami staugė.
Ak jūs neprieteliai, ar jau mėsos pasigendat?
Ar jau vėl skilvyj jums pastninkai pasidarė?
Eikš, šiaury baisus, išklėstyk nugarą bloznų!
Bausk, prispausk su šalčiais juos, kad gloda jų būtų!
Juk baisu žiūrėt, kaip jie kas vasarą mielą
Nei mėsininkai per laukus bėginėdami smaugia.
O kad jie pagiryj užpuola kaimenę linksmą,
Tai nesirūpin, ar liesa, ar tukusi kiaulė,
Irgi negailis, kad kokį kuiliuką suėda;
Bet ir kuilį didelį jie parplėšt nesibijo.
Taip tie neprieteliai, kiaulienos jau prisiėdę,
Dar nesisotin, bet ir jautienos užsigeidę
Taip beržd̄žias, kaip ir veršingas pamuša karves.
O ir tai negana; jie vis daugiaus išsižioję
Jau ir jaučių šešergių parplėšt nesibijo.
Ai, kiek margių, kiek dvylių jie sviete suėda!
Žalį su laukiu kytru bei bingusį keršį
Kartais, į laukus nusibastę, pradeda gandint.
Bet ir juodo jie daugsyk n'atbodami buliaus,
Plėšyt ir mėsos prisiėst į kaimenę šoka.
Kerdžiaus ir piemenų, kad juos uliuodami baido,
Kartais taip n'atboj, kad vos į pagirį traukias
Ir nusinešę ką tuojaus tikt ėda, tikt ėda.
Ak žiemy, žiemy, susimilk, padaryk mums provą!
Juk ne daugio reik, štai jau galvijų neteksim,
O po tam dar mus pačius su gimine mūsų,
Moteres ir vaikus vilkai mėsinėt pasidrąsins.

Так размышлял я. Внезапно сбежалась волчья ватага,
Хором на все лады во тьме кромешной завыла.
Ах вы, разбойники-воры! Свежинки небось захотелось
Иль животы у вас с голодухи снова подводит?
Сивер жестокий! Гони их, по грязным спинам стегая,
Жги их, мороз, без пощады — пусть сгинут эти бродяги!
Сивер, к тебе прибегаем: ведь каждое милое лето
Рыщут они по полям и режут нашу скотину.

Вдруг на опушке лесной заприметив весёлое стадо,
Не разбирают они, жирна ль, худа ли скотина,
Также им всё равно — что боров, что поросенок,
Даже и хряков матёрых они задирают порою.
Но и свинины нажравшись, не знают они угомону:
Всё не насытятся, им не хватает говядины сочной.
Стельных и яловых резать коров тогда начинают,
Изо дня в день жадней и бесстрашней становятся воры
И наконец начинают травить и быков-шестилеток.
Сколько сгубили они пестравок, бурёнок, лысанок,
Сколько, сколько они задрали, в поле застигнув,
Статных бурых быков, степенных и важных соловых.
Часто она бугаев не боятся, рогатых и черных,
И в середину стада кидаются, злобно ощерясь.
Крик пастухов и пастушек нисколько воров не смущает,
Только на шаг-другой, не спеша, подаются к опушке
Вместе с добычей — и жрут, и жрут на глазах у кричащих.
Нас пожалей, зима, помоги в беде и несчастье!
Этак мы скоро совсем лишиться можем скотины,
Ну а потом, глядишь, и до наших семей доберутся, —
Наших ребят и жён растерзают волчьи ватаги.

O jūs jėgėrės mokinti, jūs liesininkai,
Kam nešaudot, ką valdonai paliepė šaudyt?
Argi nežinot, kad nei viens malonings karalius
Juos užmušt ir išgaišint žmonėms nepavydi?
Ar dykai jis jums kulkas bei paraką davė?
O dėl ko vartus kytrus pas girę pastatė
Ir linksmai gyvent jiems ūbą primušė lauko?
Ei kieksyk į šilą vogt nuvažiuodami būrai
Su kašele dovanot slaptoms jiems atneša kumpį
Ir aklai prisisurbt su stuopoms pripila gerklę!
Bet tai vis klasta; nės varts taipo prisisurbęs
Jau po tam ir prisiegos atmint užsimiršta,
O taip jam bekapanojant klastuodami vagys
Liepas uždraustas, pušis ir drūtmedį vagia
Ar, nusišovę su griekais, sau parveža briedį
Irgi namėj slapta mėsinėdami juokiasi šelmiai.

Вы, лесники, и вы, егеря, бывалые люди,
Что не стреляете, если стрелять вам велено властью?
Или, скажите, король приказом каким запрещает
Людям травить волков и повсюду искоренять их?
Попусту, что ли, на то отпускают вам порох и пули?
А для чего в лесу, скажите, объездчиков держат,
Даже землёй наделяют их всех, чтобы жили в достатке?
В лес по студёной поре воровать дрова приезжая,
С окороками корзинку в подарок крестьяне привозят,
Водки побольше подносят объездчику, чтобы молчал он.
Это обычный подвох, ведь объездчик, пьяный мертвецки,
После того забывает про лес, присягу и службу,
А между тем за стеной в лесу орудуют воры,
Рубят толстенные сосны, дубы, заповедные липы
Или стреляют лосей, домой отвозят добычу;
Тушу немедля свежуя, ещё ухмыляются, шельмы!

„Rods, — tarė Pričkus, su tabaku būrus pavitodams
Ir, kaip būdas jo, žnairioms į Kubą žiūrėdams, —
Rods jūsų mylista jau patys tiek išsimanot,
Kad klastuot ir vogt vierniems nepridera klapams.
Aš, šaltyšius, aš, mokinto Bleberio žentas,
Daug klastų tarp jūs numaniau, į baudžiavą jodams.
Štai ben vieną tikt žodelį jums pasakysiu.
Tūls tarp jūs, mano sėbrai, vos į baudžiavą slenka
Ir atsivilkęs, kad reik suktis, vos rėplinėja.
Viens, stovėdams ir vis šen ir ten žioplinėdams,
Pasakas ir niekus visokius užneša draugui,
O kitsai tikt vis į pypkį kemša tabaką
Ar uždegt ugnies i pintį skilia vėpsodams;

O vėl kits ką vogt slaptoms į pašalį traukias
Ir, kašeles kitų draugų kytriai sumedžiojęs,
Kaip koks šuo smarkus pakavotus trupučius ėda
Ir kitiems baudžiauninkams tikt gėdą padaro.

«Кажется, — вымолвил Причкус, крестьян табаком угощая
И, по привычке своей, исподлобья на Кубаса глядя, —
Кажется, милости вашей теперь уж вдомек, что обманом
И воровством промышлять не пристало людям достойным.
Я ведь давненько солтыс и тесть мой — Блеберис мудрый;
Ваших проделок немало на барщине я нагляделся, —
Вот и словечко скажу я, приятели, вам в назиданье.
Много средь вас таких, что на барщину еле плетутся.
А за работу принявшись, едва шевелятся; другие
Словно к земле прирастают и, вовсе забыв о работе,
Всякую там небылицу соседу на ухо шепчут,
Трубку свою табачком то и дело один набивает
Или огонь из кремня высекает, сладко зевая;
Этот повозится малость, потом подастся в сторонку
И тихомолком, подлец, отыскав корзину соседа,
Словно голодный пёс, чужие куски поедает,
Бурасов честное имя кругом срамя и пороча.

Kad koks lenkiškas ar žydiškas balamūtas
Taip nesvietiškai klastuot ir vogt užsimano
Ar kad vokietis koks, vokiškai pameluodams,
Taip ponus, kaip ir būrus, apgaut pasidrąsin,
Tai nesidyviju, nės jiems toks prigimė būdas.
Ale ką mislijat, kad toks tūls randasi smirdas,
Kurs lietuviškai kalbėdams pradeda branyt
Ir visai n'atboj, kad Krizas Krizą prigauna?

Если кого-нибудь часом еврейский плут или польский,
Как простака, обмануть, обобрать бесстыдно задумал
Или какой-нибудь немец, наврав, по немецкой манере,
Бар и крестьян равно надувает немилосердно,
Не удивляюсь ничуть — у него такова уж природа!
Что же подумать, когда встречаешь такого поганца,
Кто говорит по-литовски и жить начинает обманом,
Не замечая того, что подводит бураса бурас.

Ak dyvai, kad jau dėl mūs vierni liesininkai
Su viernais vartais visur dūsaudami skundžias.
Juk baisu klausyt, kad, ant česnių susibėgę
Ir brangvyno būriškai prisiriję, būrai
Kits kitam klastas ir šelmystes pasižįsta
Ir iš savo griekų sunkių šūtkas pasidaro.
Viens apbranijęs liesininką giriasi šelmis,
O kitsai vartus priviliojęs juokiasi smirdas.
Šis, akis užsipylęs ir dūkiu svyrinėdams,
O ansai, iš viso jau po suolu nupuolęs
Ir kone merdėdams, dar būrų giria vagystę.

Не из-за наших ли плутней сегодня сетует столько,
Столько вздыхает везде лесников и объездчиков честных?
Слушать воистину страшно, когда на пирушку сойдутся
Бурасы наши порой и друг другу в плутнях несчётных
Вдруг признаваться начнут открыто и чистосердечно
И над своими грехами смеяться в шутку-забаву.
Кто лесника обдурил и этим хвалится, шельма,
Кто там объездчика за нос водил и хохочет, поганец,
Кто, ошалев от водки, как дурень, буркалы пучит,
Кто свалился под стол и уже подняться не в силах,
Но вороватых крестьян языком коснеющим славит.

Ak tu švents dieve, kokią gi gadynę sulaukėm!
Ak kokios tamsybės jau apjekino svietą!
Pons ir tarnas jo peklon tikt bėga, tikt bėga.
Dievą viens nieku laikydams juokiasi šelmis,

O kitsai, kad jam įtiktų, niekina dievą.
Tūls, kruopas nedarytas ir vos pasukas ėsdams,
Po vargų našta kasdien vaitoja pakumpęs;
O dar ir toksai utėlius juokiasi dievui!
Skundžias neprietelius, kad ponai vargina svietą
Ir kad būrams jie paskutinį lašina kraują;
O tačiaus linksmai nusipešt į karčemą bėga,
Taip kad panedėlyj dar krapšto kruviną snukį.“

Господи, боже ты наш, до какого мы дожили сраму,
Что за кромешная тьма одолела грешную землю!
Так в преисподнюю, смотришь, и лезут баре и слуги.
Бога поносит одни и над ним глумится, как может,
Вторит ему в угожденье другой, прощелыга и лодырь.
Третий, одной простоквашей и сорной крупою питаясь,
Тяжко кряхтя и стеная под грузом трудов непосильных,
Тоже над господом богом смеётся, этакий вшивец!
Всюду он плачется, ноет, что баре людей угнетают,
Мол, из крестьян выжимать последнюю кровь не стыдятся.
Ну, а в харчевню-то, смотришь, во все лопатки несётся
И в понедельник ещё потирает битую морду».

„Ak, – tarė jam Enskys, pas kūmą Krizą sėdėdams, –
Pričkau, tu per daug jau mūs išniekini būdą;
O dėl ko tu taip lietuvninką nabagėlį
Išdarkai, jo šelmystes visas pasakydams ?
Ar nedabojai, kad visi taip elgiasi būrai?
Švėds, maskolius, lenks ir žyds kitaip nepadaro,
O ir vokietis, prancūzui «vui» pasakydams,
Taip kaip tikras koks prancūzas moka prigauti.
Juk ir tu, gaidau, šaltyšium dar nepastojęs,
Su kitais draugais linksmai mokėdavai elgtis.
Ei kieksyk, su mumis tamsoj į girę nučiuožęs,
Padarynėms, kaip mes, visokius vogdavai uosius!
Ale beje tu vis kytriai prisivogti mokėjai;
Todėl ir vartai tave dar niekados nenutvėrė.
O štai mus nabagus glūpus (tikt gėda sakyti)
Jau tieksyk ir taip aštriai liesininks koravojo,
Kad, manding, klastuot ir vogt jau reiks pasiliauti.“

– «Ах, – отозвался Энские, у Кризаса кума сидевший, –
Право, не в меру сегодня ты к нам придираешься, Причкус.
Что ты с пристрастьем таким литовца-беднягу поносишь,
Всё говоришь об одном – об его плутовствах да и только.
Или не видел, что все одинаково грешны крестьяне,
Русский, и швед, и еврей поступают разве иначе?
Немец, который «вуй-вуй» спешит французу поддакнуть,
Если придётся, людей околпачит не хуже француза.
Ты ведь и сам-то, брат, когда ещё не был солтысом,
Часто с соседями вместе на этакий лад веселился:
Зимней порою в лес выезжая с нами в потёмках,
Ясени или дубы не хуже нас воровал ты!
Кстати, умел ты хитро воровать, и поэтому сторож,
Как ни глядел, а, бывало, всегда в дураках оставался.
Нас же, нас, бедняков неразумных (стыдно и молвить!),
Сколько он раз накрывал и наказывал так беспощадно.
Что с воровством и обманом покончить, как видно, придётся».

„Rods, – tarė Selmas, – nei vienam klastuot nepareitis,
O lietuvninkams dar juo daugiaus nepritinka.
Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria
Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus pamatytų,
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.
Ne tikt vokiečiai visoki mus pažiūrėti,
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko;
Taip kad ir lietuviškai kalbėdami valgo
Ir jau rūbais mūs, kaip mes, vilkėti pagavo;
Tikt margų marginių dar nešioti nedrįsta.

— «Кажется, — вымолвил Сельмас, — обман никому не дозволен,
Ну, а литовцам подавно нечестными быть не пристало,
Знаете сами, как славит Литву любой чужестранец,
Сколько, чтоб нас поглядеть, наезжает в наш край иноземцев,
С мира всего небось любопытных понабежало.
К нам ведь не только одни пробираются немцы охотно,
Но и французов немало нас любит и жалует нынче.
Стали они за столом по-литовски болтать понемногу.
Смотришь, иные из них на литовский манер приоделись,
Лишь домотканые платья надеть никак не решатся.

Taigi pameskim jau tokį netikusį būdą,
O viernai visur ir viežlybai pasielkim,
Taip jau ir svetimi mus būrai girt nesigėdės.
Juk mums dievs aštriai, kaip žinom, zokaną duodams,
Draudęs yr klastas visas ir visą vagystę
Ir nei šiaip, nei taip prigaut mums nedavė valią.
Kad Dočys ar Joks Mykolui pavagia stungį,
Ar kad Kekė, ką neviežlybai panorėjus,
Su klasta slaptoms Katrynos atima ražą,
Tai jau didis grieks; ne, taip užsigeisti netinka.
Ei kas tai per grieks, kad kartais didelį rąstą
Šis ar tas, ar ans pasikirtęs pradeda skaldyt
Ar kad aužuolus šulnus durnai sukapojęs
Duoną kept ar ką džiovint į kakalį kiša!
Ar nebūt ir keras koks tam reikalui tikras,
Ar kūlelis, iš žagarų sausų padarytas?“

Так что пора, соседи, дела дурные оставить, —
О плутовстве позабудьте, старайтесь быть попристойней.
Станут нас дружно тогда хвалить и чужие крестьяне.
Знаем, господь, преподав законы строгие людям,
Нам запретил обман, воровство запретил он любое,
Нам не позволил издревле господь в плутовстве изощряться.
Если Дочис или Йонас утащат нож у соседа
Иль на чужое добришко позариться вздумает Еке
И у Катрины тайком унесёт хотя бы метёлку,
Это уж грех — и великий, и так поступать не годится.
Ну, а какой же грех, если бурас присвоит колоду,
Или, сосну повалив, на дрова рубить её станет,
Или могучий дуб повалит — расколет да в печку
Кинет — хлебы испечь или что сушить из одежды!
Разве каким-нибудь пнём в нужде не мог обойтись он?
Не обогрела бы разве валежника связка-другая?»

„Jaugi gana, kaimynai! — Pričkus šaukti pagavo,
Kas krivulei reik, išmanomai pasisakėm,
Bet, kas dar žiemai reikės, trumpai pasakykim.
Žinot, kad ugnis, kurią mes skildami darom,
Daug naudos ir daug iškadų gal padaryti.
Kad, pasikūręs ją, kuklius ar šiupinį verdi
Ar kad, kepdams ką gardžiai, pas kaminą sėdi,
Tai tau iš drūtų minkšti pasidaro kąsniai.
Ei koktu dūšelei, kad didei prisivargęs,
Susnigts argi sulyts pas šiltą kakalį traukies
Ir mylėdams jį pamaži jau pradedi snausti.
Ar negerai, kad dievs ugnelę mums dovanojo?

— «Хватит, соседушки, хватит, — ответил Причкус сердито, —
Складно сказали мы то, что уместно на сходке крестьянской,
Только про зиму придётся ещё покалякать маленько.
Знаете сами: огонь, что мы из кремня высекаем,
Пользу большую приносит, но также вред — и немалый.
Если, огонь разведя, шюпинис ты варишь, иль клёцки,
Или что вкусное жаришь, у печки пылающей сидя,
Жёсткие мяса куски понемногу становятся мягки.
Как же приятно бывает тебе, утомлённому за день,
Если вдобавок промок до костей от дождя или снега,
К печке горячей прижавшись, впадать понемногу в дремоту.

Плохо ли то, скажи, что огонь дал людям всевышний?

Bet ir malkos reik, kad nori stubą pašildyt
Ar kad kokį sau prisikaitęs šutini puodą.
Mislyk tikt, kas būt iš mūs, kad virt užsigeidę,
Kas mums reik, nei šio, nei to nerastume sviete.
Tai jau kiauliškus reikėtų jovalus ėsti.

Нужно, конечно, дровец, если хочешь согреться получше,
Или сварить, иль поджарить чего на обед или завтрак.
Только подумай, приятель, о том, что было бы с нами,
Если б огня и дровишек совсем не водилось на свете, —
Месивом, верно, свиным нам пришлось бы тогда пробавляться.

Ogi ką veiktumbim, kad kuočės, peršalę smarkiai,
Užkakalės šiltos nerastumbim pasislėpti,
Bet nei žvėrys ant laukų bėginėdami vargtum?
Taigi nevenk, žmogau, kassyk, kad viralą verdi
Ar kad šildytis kytriai pas kakalį timsai,
Tam dėkavot, kurs ugnį tau ir šilumą davė.

Что бы мы делали, если б продрогли на лютом морозе
И не могли б приютиться у печки, натопленной жарко.
По полю бегали б мы, бедовали б, как дикие звери.
Не забывай же о том, человек, и, похлёбку ли варишь
Или у печки горячей ты нежишься в полудремоте,
Благодари того, кто дал огонь и тепло нам.

Ale nepykit, kad aš jums, kaip puolasi šulcui,
Dargi daugiaus, kas reik, trumpu žodžiu pasakysiu.
Tas ugnies skaistums, kursai mums žibina stubą
Ir, kad verdam ką, valgius iššutina puode
Ar žiemos čėse, kad reik, mums kakalį šildo,
Ta liepsna, klausykit tikt, kad mes nedabojam,
Daug, ak, daug iškadų gal ūmai padaryti,
Taip kad jos smarkums, tamsoj pasikėlęs,
Ne tiktai mūsų būriškas sudegina šėtras,
Bet ir poniškus butus supleškina greitai.
Juk girdėjot, kaip dusyk puikiam Karaliaučiui
Dėl raspustos ir sunkių griekų pasidarė.
Argi nematėte jau daug tokių nabagėlių,
Ubagais einančių, kurius sušutino liepsnos?
Tūls iš jų sau pats, be proto kakalį kurdams,
O kits, taukus spirgindams, susvilino namą.
O kiek sykių glūps ir nuopertas savavalninks,
Pypkį sau užsidegęs, tarp šiaudų nusibasto
Ir, žėlėk dieve, taipo supleškina kiemą,
Kad iš viso tikt vos gals tvoros pasiliekti.
Taip paskui toks neprietelius, iškadą padaręs,
Ir nei koks baisus razbaininks sviete nerimdams,
Jau pasislėpt ir šen, ir ten tikt bėga, tikt bėga.
Taigi dabar bylinėk su juom, taip ubagu tapęs.

Но не сердитесь, друзья, если я, по должности шульца,
Лишнее слово промолвлю, — послужит оно вам на пользу.
Этот дивный огонь, что жильё озаряет ночами
И заставляет вариться простые кушанья наши,
Иль хорошо нагревает очаг в холодную пору,
Слышите — этот огонь, коль за ним не присматривать в оба,
Много, ох, много бед натворить он может народу.
Страшная сила его, во тьме ночной возникая,
Испепеляет не только избёнки крестьянские всюду,
Но и господских палат не щадит, — их мигом сжирает.
Разве не слышали вы о беде великой, соседи.
Что Караляучюс-город уже постигла двукратно?
Разве людей не встречали, огнем вконец разорённых,
Что по дворам побираться пошли с котомкою нищей?
В чём-нибудь каждый повинен: тотпечь затопил бестолково,
Сало поджаривал этот и сжёг дотла свой домишко.

Ну, а меж нами-то сколько упрямых глупцов, что привыкли
По сеновалам да ригам шататься с раскуренной трубкой.
Спалит, помилуй господь, деревню этакий дурень,
Так что один лишь кол останется там от забора.
После же недруг такой, народу бед понаделав,
Мечется, словно разбойник, и места себе не находит, —
Прячется тут и там, и попробуй-ка с ним ты судиться,
Всё потеряв добро, по дворам чужим побираясь!

Argi netyrėte, kaip mūsų mylimą Krizą
Pernai neprietelius Dočys susvilino visą?
Tas širdings žmogus, kaimynu mūsų bebūdams,
Kožną vis lietuviškai mylėdavo sėbrą.
Ypačiai ir labiaus šeimyną jis savo mielą,
Kaip save patį čėdydams, mylėt nepatingo.
Darbą nei vienam jisai n'uždėdavo sunkų,
O prisidirbus kiekvienam, kaip reik gaspadoriui,
Vis gardžiai keptus ir virtus duodavo kąsnius.
Tikt dyvai klausyt, kad Lauras, mūs pakamorė,
Krizo kelnores ir kuknę pradeda garbint.
To žmogaus namelius Dočys kaip jau paminėjau,
Pypkį sau užsidegęs ir kirmyt nusibastęs,
Naktyj prieš gaidžius taipo supleškino pernai,
Kad iš namo jo vos kuolas viens pasiliko.

Разве не видели сами, как Кризаса, доброго друга,
В прошлом году спалил супостат Дочис ненароком?
Кризас, любезный сосед, человек, уважаемый всюду,
Гостя любого всегда был готов обласкать по-литовски.
Но особливо своих дорогих домочадцев любил он,
Их, как себя, жалел и об них радеть не ленился,
Не отягчал их тяжёлым трудом, но, добросердечный,
Каждого после работы спешил попотчевать тут же
Вкусной и сытной похлёбкой, варёным и жареным мясом.
Диву даёшься, когда начинает приказчик господский,
Лаурас, выхваливать нам его кладовые и кухню.
Этот чудесный дом спалил Дочис, как сказал я:
Трубку свою раскурил, да и спать потом завалился.
Кочет ещё не кричал, а уже от соседского дома
Пепел остывший остался да пара жердей обгорелых.

Ak mano kaimynučiai, ak širdingi broleliai!
Aš dėl dievo jus meldžiu, n'užmirškite Krizo;
Ir kad jums jisai pasiklonios, ubagais eidams,
Ben nepadyvykit jam, jo pamatydami skrandą,
Ir kad jis Tėvemūs skaitys, nebarkite biedžių.
Nės kas naktyj jam, žėlėk dieve, pasidarė,
Tai mums per pietus kasdien dar gal nusiduoti,
Kad mes, kaip tūls vokietis, prastodami dievą,
Šelmystes padaryt, klastuot ir vogt nesiliausim.

Ах, дорогие соседи, мои любезные братцы!
Господа ради прошу вас — о Кризасе помните крепко.
Также, прошу, не дивитесь, его в лохмотьях увидя,
Если поклонится вам и руку, как нищий, протянет…
Станет он «Отче наш» читать — его не браните!
То, что с этим беднягой стряслось в полночную пору,
Может и с каждым из нас приключиться утром иль в полдень,
Если, как недруги-немцы, забудем о господе боге,
Если обманывать, красть мы тотчас не перестанем!

Taigi mokinkis, miels žmogau, čėsu pasirūpint,
Kaip žiemavojant tau reikės kasdien pasielgtis.
Šąlant be šiltos stubos išbūt negalėsi,
O šaltos kuršolės srėbt ir surbt nenorėsi.
Todėl tankiai tau reikės ugnies prasiskilti
Ir ąsuočių ant ugniavietės pastatyti.
Tikt, minau, saugokis, kad, sau kakalį kurdams
Ir pasikepdams ką bei skanų viralą virdams,

Nei save patį, nei kitus draugus nepažeisi.
Juk girdėjai, kaip Dočys ansai savavalninks,
Krizui negandas, vargus ir gėdą padarė.
Todėl nemiršėk kasdien į kaminą žvilgtert
Ir kytriai krapštyt, kad suodžių kas pasidarė.
O stuboj nevalia sukraut ant kakalio skiedras.
Šiukštu čia džiovint ar džiaut ben pagalį vieną.
Žinot juk visi, kokį mes urdelį turim
Ir kaip vyriausybė tą ketina pakarti,
Kurs kaip kietsprandis šaltyšiaus žodį paniekins.
Bet ir tai negerai, kad kartais ko pasigedęs
Naktyj į tamsius kampus su žiburiu kopi
Ar ant vaikpalaikių, kaip tėvui reik, nedaboji.“

Ну, так учись, приятель, учись заботиться впору
О каждодневных нуждах в суровое зимнее время.
Ты обойдёшься ль избушкой нетопленной в лютую стужу,
Станешь ли ты глотать холодный борщ или тюрю?
Нет! Так придётся тебе высекать огонь постоянно
И на очаг разожжённый горшочек с варевом ставить.
Но берегись, когда начинаешь растапливать печку,
Что-нибудь жаришь-печёшь или вкусную варишь похлёбку,
Чтоб самому себе и другим беды не наделать.
Ты ведь слыхал небось, как Дочис, обалдуй и упрямец.
Кризаса в горе большое и в стыд великий повергнул.
Не забывай потому в дымовые заглядывать трубы,
Исподволь сажу на них выскребай, как хозяин исправный.
Щепки на печь не клади и соседям класть не советуй.
Также сушить на печи не смей сырые поленья.
Знаете сами, какой приказ получен суровый.
Тотчас, без промедленья, начальство вешать готово
Всякого, кто из упрямства посмеет ослушаться старост;
Также неладное дело, хватясь чего-нибудь ночью,
Шарить с лучиной в руках по углам, где всякая рухлядь.
Либо ребят озорных оставлять без присмотра в избушке».

Pričkui taip šaltyšiškai būrus bemokinant,
Štai ant ūlyčios toksai pasidarė šūvis,
Kad ir žemė su visais daiktais padrebėjo,
O stuboj langai, naujai taisyti, sudrisko.
Kožnas šūvį tą girdėdams taip nusigando,
Kad apgaišę tuo keli po suolu nupuolė;
Bet kiti tarp jų, daugiaus turėdami proto,
Iš stubos Plaučiūno tuo kūliais išsirito
Irgi bekapanojant ant kiemo Duraką rado.
Nės Dočys varnienos ėst permier užsigeidęs,
Biedžiui tam glūpam loduotą puloką davė,
Liepdams, kad jam tuo nušautų dvylika varnų.
Duraks, paikas vaiks, gaspadoriaus savo paklusęs,
Varnų mušt tuojaus kiek; reik su puloku bėgo.
Štai, ant kraiko jis išvydęs didelę varną,
Šovė taip durnai, kad šaudams uždegė skūnę
Ir kaimynų tuo visas supleškino trobas;
Bet ir Duraką puloks perplyšdams pagadino.

Тою порой, как селян поучал начальственно Причкус,
Выстрел вдруг такой прогремел поблизости где-то,
Что ходуном заходила земля от края до края
И на куски разлетелись в избушке новые стёкла.
Выстрел услышав громовый иные селяне с испугу
Остолбенели и вмиг со скамеек попадали на пол.
Ну, а другие, что разум с грехом пополам сохранили,
Словно как пули, на двор понеслись из избы Плаучюнса,
И недалече Дуракса нашли, истекавшего кровью.
Что ж оказалось? Дочис захотел вороньего мяса,
Дал он бедняге ружьё заряжённое, чтобы немедля
Тот застрелил и принёс ворон с десяток на ужин.
Парень-то был глуповат и в угоду воле хозяйской
Тотчас, как должно, с ружьём исполнять приказанье помчался.

Тут же, на крыше соседней увидев большую ворону,
Так неумело стрельнул, что пыжом сеновал подпалил он.
Вот — занялась изба; за ней — другая и третья,
А ружьецо разорвало — и парень-то сам поплатился.

Tokiai negandai, žėlėk dieve, nusitikus,
Tuo pons amtsrots su tarnais visais pasirodė
Ir tyrinėdams klausė, kaip ugnis pasikėlus.
Štai kiekviens, širdingai verkdams irgi dūsaudams,
Dočio neprieteliaus ir varnų jo paminėjo.
Amtsrots su tarnais, kalbas girdėdami tokias,
Dyvijos didei ir Dočį bardami spiaudė.
Bet dar to negana. Raspustą reik koravodint.
Todėl su lenciūgais jį drūtai surakino
Ir surakintą taip ant rogių nuvežė sūdyt.

Скоро об этой беде проведал также пан амтсрат,
Незамедлительно прибыл он с кучей своих челядинцев,
Стал он расследовать строго, что было причиной пожара.
Каждый, вздыхая и плача, спешил рассказать про Дочиса,
Каждый в рассказе своём поминал ворон неизменно.
Амтсрат, от всякого слыша одно и то же, в большую
Ярость пришёл и Дочиса бранить принялся несусветно.
Мало того — преступленье сурово наказывать нужно, —
Тут же, по слову его, в кандалы заковали Дочиса
И на санях отвезли в тюрьму, чтоб суда дожидался.

Po penkių dienų daugums susirinko sūdžių
Ir daugybę liudininkų tuojaus suvadino.
Štai tuo Milkus ir Enskys su Bleberio žentu,
Lauras ir Laurienė, Kekė su Pakuliene
Liudyt ir ant Dočio skųst anksti nukeliavo.
Taipgi dabar visiems jau viežlybai susirinkus,
Dočį provninkai atvesdint urdelį davė.
Jis didei dūsaudams provninkams pasirodė.
Ponai klausė jį, kaip sūdžioms reik tyrinėti,
Kad jie provą nor kožnam vertai padaryti;
O ir liudininkai visi, provon suvadinti,
Liudijo taip vertai, kad ponai liudymą gyrė.
Bet Dočys girdėkit tikt, rankas įsirėmęs,
Provninkams visiems nei gero nedavė žodžio.

Ровно на пятый день собрались почтенные судья
И отовсюду созвали свидетелей: шумной толпою
Тотчас на суд поспешили Энскис, и Милкус, и Лаурас,
И Лаурене, и Еке с подружкой своей Пакулене.
Встав до рассвета, соседи явились — с жалобой каждый,
Ну, а когда, наконец, расселись люди пристойно,
Страже судьи велели ввести Дочиса немедля.
Тяжко вздыхая, Дочис пред судилищем вдруг появился,
Строго его обо всём господа расспрашивать стали,
Точный допрос учиняя, как судьям правдивым пристало,
Также свидетелей всех допросили они по порядку
И говоривших правдиво почтили своей похвалою.
Но подбоченился дерзко Дочис (подумайте только!),
Он никому из судей на слова не дал промолвить.

„Kas jums rūp, — tarė jis, — jūs provninkai maloningi,
Kad, varnienos kartais aš išsikept užsigeidęs,
Varnų ben porelę sau pietums nusišauju?
Ar nepavelijo gaišint jas mūsų karalius?
Tarp lietuvninkų daug yr išdykusių būrų
Ir bernų daug yr, kurie tą niekina valgį;
O man vis viens miers, kad tikt mėsos prisivalgau.
O jūs biedžiui man kąsnelį tokį pavydit?
Ar ne gana, kad aš jums varnų nunešu kojas
Ir, kaip būrui reik, sugavęs dvylika žvirblių,
Galvas nusuktas kasmets jums duot nesistengiu?
Taigi ben irgi manęs ben kartą jau susimilkit,

Kad aš iš bėdos, gaivindams savo dūšelę,
Varnų ben kelias išsikept kasmets nusišaudau.
Juk jūs, ponai, mus, būrus, jau taip nustekenot,
Kad paskiaus mums ėst reiks žiurkes irgi pelėdas.“

«Судари судьи, — сказал он, — кому какая забота,
Если поджарить порой воронятины я пожелаю
И потому застрелю на обед ворону-другую.
Иль королевский закон истреблять ворон запрещает?
Знаю, меж наших литовцев балованных бурасов много
И батраков, кому не по вкусу яства такие.
Я же ничем не гнушаюсь, мне только бы мяса наесться.
Ну, так зачем вы хотите присвоить мой нищий кусочек, —
Иль не довольно того, что таскаю вам ножки вороньи
И, воробьёв наловив двенадцать, как бурас примерный,
Головы им свернув, сдаю властям ежегодно?
Так что прошу я, хоть раз окажите высокую милость
И не корите меня, если душу потешить хочу я
И застрелить временами осмелюсь ворону-другую.
Вы, господа, по правде, крестьян вконец уходили,
Скоро останется нам за крыс да за сов приниматься».

Pričkus su kitais šaltyšiais, Bleberio sėbrais,
Dyvijos didei, dyvus girdėdami tokius.
„Ak, — tarė viens tarp jų, — toktu su mūsų gadyne,
Kad savavalninkai, drausmės n'atbodami ponų,
Sau ir artymui biednam iškadą padaro.
Ar ne gana pons amtsrots mus, kaip tėvs pamokindams,
Draudęs yr su pūčkoms ant padvarijų šaudyt?
O kieksyk kunigai, mišias laikydami, barė,
Kad mes ponams, kaip mums reik, klausyt nenorėjom.
Taigi dabar žiūrėkit tikt, kas mums pasidarė!
Ak Dočy, Dočy, tu mūs klausyt nenorėjai,
Kad tave mes visi viernai graudendami barėm!

Слушая речь таковую, стоял, опираясь на палку,
И несказанно дивился с другими солтысами Причкус.
«Эх, — там кто-то сказал, — времена какие настали,
Самоуправствует каждый, забыв о господском приказе,
Ближним, а пуще себе бесконечные беды приносит.
Мало ль пан амтсрат, скажите, нас всех поучал по-отцовски,
Ведь запрещал он из ружей стрелять во дворах деревенских.
Сколько священники в церкви, припомните, нас укоряли
В том, что наших господ не желаем слушаться ныне.
Вот и глядите-ка, братцы, какая беда приключилась!
Ах, Дочис, Дочис! Не хотел ты послушаться дельных,
Добрососедских советов, когда мы тебя вразумляли!

Rods, žėlėk dieve, mūs viešpatys maloningi
Būrą, vis pinigų daugiaus norėdami, lupa.
Kad Dočys porelę varnų kept nusišauja
Ar čerpėj nešvankią jų sau sutina mėsą,
Rods negražu girdėt ir būrui didelė gėda.
Ale ką veiks žmogus stokodams ir badu mirdams?
Dėl bėdos juk kartais daug dyvų nusiduoda.
Tikt permier negerai, kad kuočės glūps savavalninks
Šaudydams durnai kitiems supleškino namą.“

Что уж греха таить: господа, радетели наши,
Требуя денег всё больше, крестьян вконец обдирают,
Ежели пару ворон застрелил Дочис с голодухи
И на обед в горшке их мясо поганое варит.
Слушать об этом позоре не хочется, но посудите —
Как человеку прожить, когда с голодухи он пухнет?
Мы-то ведь знаем: нужда довести и до худшего может!
Только никак нельзя спустить и упрямцу, который
Без толку бьёт из ружья и чужие дома поджигает».

Taip visiems besiskundžiant vakmistras atsibastė

Ir šaltyšiams į Karaliaučių paliepė rengtis.
Tuo pilvots Kurpiūns, vyriausias jų pakamorė,
Vakmistrui pasikloniodams kepurę nuvožė
Ir, kas tarnui reik, atlikt viernai pažadėjo.
Taip po tam jisai, suvadinęs dvylika šulcų,
Urdelį davė po penkių dienų pasirodyt.
Tuo jie visą Vyžlaukio sujudino valsčių,
Taip kad iš visų pašalių susirinkę būrai
Nei koks skruzdėlyns visur kribždėti pagavo.
Rods taip reikia padonams ponams savo paslūžyt
Ir atlikt viernai, kad juos jų spaudžia malonė.

Так сокрушались они. Вдруг вахмистра голос раздался.
Он в Караляучюс велел собираться солтысам немедля.
Вышел брюхастый Курпюнас, что был приказчиком главным,
Шапку стащил с головы и, начальству кланяясь низко,
В точности выполнить всё обещал, как слуге подобает,
После того созвал он двенадцать шульцев немедля,
Дал приказание людям — чрез пятеро суток явиться.
Волость Вижлаукская вся всполошилась от края до края
С самой зари потянулись крестьян несметные толпы —
Как в муравейнике всё встревожилось, зашевелилось.
Подданным разве пристало зевать да топтаться на месте?
Нужно стараться, когда прижимает их барская милость.

„Ak, — tarė Lauras, viežlybus žodžius pasakydams, —
Ak, katrul jau čėsas mūsų nelabs nusibastė!
Kožnas juk žioplys, vargdienių nugarą lupdams,
Savo malonę dar iškelt ir girt nesigėdi.
Kaspars (juk visi pažįstat Kasparą smarkų),
Tas nevidons baisus, vis poniškai pasipūtęs,
Nei erškėtis koks nabagėlį gandina būrą;
O jo dumčius Daugkalba, toks jau balamūtas,
Rėkaudams vis nei gaidys savo skiauturę rodo.
Ak, kaip maž tokių, kurie, valdydami svietą,
Gailis savo žmonių kaip reik ir atmena dievo.“

«Эх, — промолвил Лаурас, достойную речь начиная, —
Эх, времена-то какие для нас, соседи, настали!
С бурасов бедных три шкуры сдирая, каждый бездельник
Милость свою выхвалять перед ними ничуть не стыдится.
Каспарс (ведь знаете все вы, как нравом он крут, этот Каспарс),
Этот элодей окаянный, набравшийся спеси господской,
Словно колючий терновник, топорщится, бураса встретив.
Ну, а подручный его, Даугкалба, этот задира,
Ходит, горланит, как хочет, и нос высоко задирает.
Ах, как немного людей таких, кто, миром владея,
Подданных бедных жалеет и помнит о господе боге».

„Tu, — tarė Pričkus jam, — saugokis Kasparą kibint
Ir tylėk, kad dumčius jo tau muša per ausį.
Dumplės yr naudingas daikts į kaminą pūsti,
Bet prieš vėjus pūst dar jos niekados nederėjo
Ir debesių greitų žingsnius stabdyt negalėjo.
O ar gal ereliui žvirblis glūps prisilygint,
Ar bloga varlė prieš liūtą didelį stengtis?
Taigi dabokis su ponu pasipūtusiu šūtyt
Ir laikyk savo snukį, kad kalboj nepariktų.“

— «Ты, — отвечал ему Причкус, — ты Каспарса лучше не трогай!
Лучше помалкивай, если Даугкалба по уху смажет!
Нужная вещь — мехи, чтоб дуть на пламя печное,
Но бесполезны они, если, дуя ветру навстречу,
Думаешь остановить облака в их беге поспешном.
Может ли с мощным орлом воробей тщедушный поспорить?
Где уж ничтожной лягушке тягаться со львом-великаном?
Так что, любезный друг, не шути с господином спесивым
И, чтоб беды не накликать, держи язык за зубами».

Tuos žodžius visiems gi begirdint ištarė Pričkus
Ir, į kailinius išverstus tuojaus įsinėręs,
Amtsroto javelius iškultus į Karaliaučių
Su kitais viernais šaltyšiais nuvežė greitai.
Bet ir vakmistrui pons amtsrots buvo paliepęs,
Kad ir jis su Pričkum ant pinigų padabotų.
Nės to amtsroto šykštumas buvo be soties,
Ir kad kartais jis vargdieniui duodavo grasi,
Tai tuo tris naktis dėl to miegot negalėjo;
O, išaušus jau, taip daugel ašarų verkė,
Kad jo slūginės ir bernai visi nusigando.
Tarnas jo Šlapjurgis su merga Susukate
Sako, kad jisai dėl to taip ubago baidos,
Kad jam naktyj apmauduot ir verkt nereikėtų;
Nės jam šilings duots sapne kaip grieks pasirodo
Ir tamsoj vis ik išaušant gandina žiedžių.
Bet dumčiuks jo, kurs kasdien jam patalą kloja
Ir kasnakts, kad kožnas jau sau miegt įsigūžtęs,
Skarbus sergėt tur, penkias liktis užsidegęs,
Sako, kad jo pons daugsyk didei nusigandęs
Irgi drebėdams prieš gaidžius iš patalo šoka.
Nės prieš gaidgystę vis jam bilduks pasirodo
Ir jo skrynę su skarbais į kaminą velka.
Todėl jis kasryts, kad jau vėl užteka saulė,
Klūpodams kaip tikras nars pas atdarą skrynę,
Už išlaikymą skarbų Tėvemūs pasiskaito.

Во всеуслышанье Причкус слова таковые промолвил,
Тотчас овчинную шубу надел он — шерстью наружу,
Амтсрата взял умолот, ни единого мига не медля.
И в Караляучюс поехал с другими солтысами вместе.
Амтсрат и вахмистру отдал приказ, чтоб с Причкусом ехал,
Чтобы за выручкой крепко присматривал с ним по дороге.
Нужно сказать, что был этот амтсрат скуп непомерно.
Если он изредка грош подавал бедняку, смилосердясь,
Спать по три ночи не мог потом и, встав на рассвете,
Слёзы до вечера лил с досады так изобильно,
Что домочадцев брала порою оторопь даже.
Амтсрата верные слуги — Шлапьюргис и Сусукате-
Молвят, что их господин для того бедняков избегает,
Чтоб не досадовать ночью и слёз не лить, ибо после
Каждый шиллинг пред ним предстаёт в сновиденьях тяжёлых
И укоряет его до зари, как грех совершённый.
Также подручный, кто стелет постель всегда господину
И, между тем как любой почивает тихо и мирно,
Барский должен богатства стеречь неусыпно и зорко,
Передаёт, что хозяин всё время кричит несусветно
И до зари с постели срывается, ибо, покуда
Не запоёт петух, без конца мерещится пану,
Будто бы черти уносят его сундуки в дымоходы,
И потому на рассвете, когда поднимается солнце,
Пред сундуками стоит он дурак дураком на коленях
И за спасенье богатств «Отче наш» умильно читает.

Todėl irgi dabar šaltyšiams į Karaliaučių
Dergiant su karališkais grūdais nukeliavus,
Verkė jis kasdien ir naktyj rimt negalėjo.
Kartais keikė taip, kad jo vaikai nusigando,
O vėl kartais iš knygelių poterius imdams
Irgi dūsaudams pas knygas aukštyn pažiūrėjo.
Taipgi bevargstant jam ir gėdiškai bedejuojant,
Štai viens jo tarnų pargrįžęs jam pasirodė
Ir pasikloniodams, kaip tarnui reik pasikloniot,
Jam kupčelninko Mikolo gromatą davė.
Amtsrotui laiškus atplėšiant irgi beskaitant,
Štai ir Pričkus jau parčiuožęs iš Karaliaučiaus,
Ale dūsaudams ir liguostas jam pasirodė;
Nės jau žilas buvo žmogus ir sirgdavo tankiai.
Amtsrots, tris žakus naujų skarbų pamatydams,

Vėl atsigavo ir sunkiai dūsauti paliovė.
Bet kaip jo tarnai, kiek yr, surokuoti pagavo,
Štai kokia nečėstis! Šilingo pasigedo
Amtsrots dėl iškados tos taipo nusigando,
Kad per visą naktį vėl miegot negalėjo,
O, išaušus jau, taipo sumušdino Pričkų,
Kad vos tris dienas sulaukęs numirė biedžius.
Bet ir vakmistrui taip smarkiai mušė per ausį,
Kad ir jis penkias dienas ant patalo sirgo;
O būrus visus, kurie jo pardavė grūdus,
Liepė todėl pliekt, kad jie pasivėlinę buvo
Ir tiek rūpesčių sunkių jam buvo padarę.
Tai, broleliai, tai visa šio svieto malonė!
Tiek nusipelnom, kad viernai atliekame slūžbą!
Juk jau, kas tikt nor, tas būrišką nabagėlį
Stumdo šen ir ten nei kokį šunį nevertą.

Вот и теперь он, когда по его приказанью солтысы
Все в Караляучюс вмиг под дождём и снегом пустились,
Плакал изо дня в день и не мог уняться и ночью.
Так он ругался порой, что родителя дети пугались,
А иногда, в тишине, читал молитвы по книге,
К небу глаза возводя с глубоким, жалобным вздохом.
Так он терзался-страдал, проливая слёзы бесстыдно.
Вдруг появился слуга и, согнувшись в глубоком поклоне,
Как подобает слуге пред своим господином сгибаться,
Дал ему в руки письмо от торговца Миколса. Только
Он распечатал его и стал читать со вниманьем,
Из Караляучюса Причкус уже назад воротился.
Немощный, тяжко дыша, он предстал перед амтсратом строгим,
Был человек он в летах, да к тому и здоровья плохого.
Три мешка увидав с богатствами новыми, амтсрат
Ожил: слёзы лить и вздыхать тяжело перестал он.
Слуги считать принялись, но, когда до конца досчитали,
Вдруг на беду оказалось, что шиллинга недоставало.
Амтсрат, узнав об убытке таком, испугался смертельно,
Глаз он опять всю ночь не мог сомкнуть, а с зарёю
Причкуса с горя-досады избил он так беспощадно,
Что протомился три дня и помер этот бедняга.
Вахмистра также свирепо хозяин по уху съездил:
Пятеро суток в постели лежал он, тяжко хворая.
Бурасов тех, которым продажу зёрна поручили,
Амтсрат высечь велел: с приездом, мол, запоздали,
Столько тяжёлых забот своему господину доставив.
Вот она, вот какова награда за наши старанья,
Вот что, братцы, за службу усердную мы получаем!
Всякий, кто хочет, кругом помыкает бурасом бедным
И, как собаку, его, сожаленья не зная, пинает.

„Tič, – tarė Selmas, – ne per daug dėl to nusiminkim!
Juk be dievo sviete nieks negal nusiduoti.
Ponai žemės šios negal be jo ponavoti,
O mes būrai vėl be jo negalime vargti.
Kožnas tur, kaip dievs jam skyręs yr, pasikakint.
Tas, kurs užgimdams aukštai kaip pons atsisėdo,
Mislyt tur, kad jį tenai miels dievs pasodino;
O tasai, kurs užgimdams būru prasidėjo,
Gėdėtis vyželių būriškų neprivalo,
Kad tikt viežlybai kaip reik atliekt savo darbus
Ir labiaus, kad jis širdingai bijosi dievo.

«Хватит! вымолвил Сельмас. – В унынье впадать не годится:
Ведь ничему не бывать без веленья господа бога.
Он именитых господ наделил богатством и властью,
Нам же, крестьянам, на долю оставил труды и страданья.
Каждый довольствуйся тем, что ему назначено богом.
Тот, кто породою знатной и долей высокой гордится,
Должен помнить вовек, кому он этим обязан.
Тот же, кто волею божьей родился бурасом нищим –

Вовсе тому не следует лаптей стыдиться мужицких,
Ежели он привык не за страх, а за совесть трудиться,
Ежели господа бога всегда почитает сердечно.

Tu savavalninke didpilvi, vis pasišiaušęs
Ir nei žaibas koks žaibuodams gandini būrą,
Ar tu ne taip jau kaip biedžius toks prasidėjai,
Ir moma taip tau, kaip jam, pasturgalį šluostė?
Kas tau liepė vargdienį nuliūdusį spardyt
Ir pasidžiaugt dėl to, kad jis vaitoja dejuodams?
Dievs ant sosto prakilnaus tau paliepę sėstis
Ir piktus koravot bei baust tau įdavė šoblę;
Bet teisiuosius kirst ir durt tau nedavė valią.
Taigi dabokis, aštrų kardą savo pakeldams,
Kad n'įžeistumbei tau klausantį nabagėlį.
Ale matau, kad tu, tyčioms akis užsimerkęs,
Vieryt jau bijais, kad dievs visur tave mato
Ir kad kartą jis atdengs tavo visą raspustą.
Tič tikt, ik sūdžia šio svieto tau pasirodys
Ir ponus taip, kaip ir mus, sūdop suvadinęs,
Algą kiekvienam, kaip pelnęs yr, sudavadys.

Ты, господин толстопузый, ты, злой самодур и упрямец,
Бурасов нищих стращаешь, гремишь ты в ярости громом.
Или не так же, как бурас, родился и ты, именитый,
Или иначе задок подтирают баричам в детстве?
Кто же тебе повелел попирать бедняков горемычных,
Душу свою потешая их жалобным плачем и стоном?
Бог высоко вознёс испокон тебя над другими,
Острую саблю тебе, чтоб карать злодеев, вручил он,
Но обижать людей правдивых — он не позволил.
А потому берегись, свой острый меч поднимая,
Только из прихоти злой казнить бедняков безответных.
Вот я воочью вижу: глаза ты щуришь нарочно,
Боязно верить тебе, что от бога скрыться не сможешь!
Злые деянья твои он откроет и взвесит сурово.
Вот погоди: придется предстать пред судьёю предвечным, —
Вас, господ, как нас, крестьян, на суд созовёт он,
Тем и другим воздаст по заслугам полною мерой.

O jūs vargdienėliai, jūs vyžoti nabagai!
Jūs baudžiauninkai, bernai ir kaimenių kerdžiai,
Ir kas dar daugiaus yr stenančių nabagėlių,
Ramdykit ben ašaras irgi paliaukite verkę!
Žinom juk visi, kas pernai mums pasidarė,
Kaip, žėlėk dieve, pons amtsrots mūsų nabašninks
Numirdams nuoglai mums raudą didę padarė.
Ak, pon amtsrot, ak, dėl ko mums numirei pernai?
Žinot juk, kaip mes, per daug raudodami biedžiai,
Ak, žėlėk dieve, baisingą sukatą gavom,
O daugums, užkimęs jau, kalbėt negalėjo.
Ogi dabar, kad vėl iš naujo verkt nesiliausim
Ir ilgiaus nesvietiškai vaitodami kauksim,
Tur mūs akys iškirmyt ir kūns nusidovyt.
O kas bus paskui, kad jau gyvent nederėsim
Irgi karaliui, kas mums reik, atlikt negalėsim?
Ūkius mums atims ir nešt lieps ubagų krepšą.
Taigi nešūtykim, kad ponai skiauturę rodo
Ir velnių vardus kasdien rokuodami keikia.
Dievs kiekvieną kartą ras, kaip yr pažadėjęs,
Ir kožnam atlygins, kaip jis yr nusipelnęs.

Вы ж, бедняки-горемыки, в дырявых лаптях и сермягах,
Вы, батраки и крестьяне, и все, кто на барщину ходит,
Сколько бы ни было вас, угнетённых, стонущих тяжко,
Слёзы утрите свои и плач унять постарайтесь.
Мы ведь ещё не забыли о том, что с нами случилось
В прошлом году, когда — сохрани и помилуй нас боже —
Помер наш амтсрат внезапно и плакать нас горько заставил.

Амтсрат любезный, зачем от нас ушёл ты навеки?
Как мы несчётные дни, по тебе убиваясь, рыдали!
Господи боже, себя чуть-чуть не вогнали в чахотку.
Многие вовсе охрипли и шёпотом заговорили.
Если же мы и теперь обливаться слезами не кончим,
Если же будем, соседи, и дальше плакать мы в голос,
Выплачем скоро глаза, согнётся, высохнет тело.
Что ж это будет, судите, когда, обессилев, не сможем
Так же служить королю, как служили в прежние годы.
Землю отнимут у нас и ходить заставят с сумою.
Так что не надо трунить, если баре нос задирают,
Если они чертей поминают, бранясь ежедневно.
Бог виноватых найдёт и накажет, как обещался,
Каждому полною мерой воздаст по делам и заслугам.

Jaugi gana šiamsyk vaitojus irgi dejavus!
Skirkimės irgi namo, tiesiog vandruot n'užsimirškim.
Tikt girdėkit, kaip ant mūs jau barasi moters,
O vaikai ant ūlyčių bėginėdami klykia.
Jaučiai su arkliais ir karvės pašaro stena;
O paršingos kiaulės bei išalkusios avys
Su kitais daiktais į mus žiūrėdami verkia.
Jau pargrįžtam jus gaivint; ben meldžiami laukit!
Gausit, kas jums reik, ir šiandien dar prisiėsit.
Žinom juk, kaip reik bandelę mylimą sotint
Ir kiek sykių ją per dieną reikia pagirdyt.“

Хватит на этот раз стонать да охать! Пора бы
Нам распроститься и всем по домам пойти поскорее!
Разве не слышите вы, как, заждавшись, ругаются бабы.
Как без призора детишки, по улицам бегая, плачут?
Кони, коровы, волы стосковались по корму давненько,
А супоросые свиньи и с ними голодные овцы
Тычутся мордами в щели, зовут нас жалобным стоном.
Милые, малость пождите, мы к вам поспешаем обратно, —
Всё, что вам следует, нынче получите и наедитесь!
Мы-то ведь знаем, соседи, как нужно ходить за скотиной,
Сколько ей корму давать, сколько раз поить её надо».

„Rods, — tarė Lauras, — rods taip reik gyvent gaspadoriams,
Kad jie nor gyvent kytriai ir pilnavot ūkius.
Vokiečiai lietuvninką per drimelį laiko,
O prancūzpalaikiai į jį žiūrėdami šypsos.
Šypsos rods, o tik mūsų šauną garbina duoną
Ir dešras rūkytas su pasimėgimu valgo.
O štai, jau lašinių lietuviškų prisiėdę
Ir mūs alų su gvoltu jau visą sugėrę,
Viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi.
Tu prancūziškas žioply su šveisteriu storu
Ir kas dar daugiaus susibastėt Lietuvą vargint,
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų paniekint?
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo
Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino?“

— «Так, — отозвался Лаурас, — хозяину жить и пристало,
Если смотреть за хозяйством и жить с умом он желает.
Немец высокомерный литовца считает болваном.
Также француз на него никогда не взглянет без смеха;
Пусть их смеются, а хлеб литовский всё-таки хвалят,
Да и по вкусу им, видно, пришлись и наши колбасы, —
Сколько бы их ни достали, едят и не наедятся.
Если ж порядком нажрутся литовского доброго сала,
Нашим разымчивым пивом по самое горло нальются,
То шельмовать начинают радушных наших литовцев.
Ты, тунеядец французский с багровым и толстым швейцарцем,
Все, кто наехал в Литву, чтобы нами распоряжаться, —
Кто вам, скажите, дозволил хулить работящих литовцев?
Лучше б вы к нам не совались, сидели б лучше вы дома,
Где научились жрать поганых жаб и лягушек».

„Ai, – tarė Selmas, – tu perdaug pasakai prancūzams.
Juk žinai, kiekviens žioplys tur savo davadą.
Mes lietuvninkai barščius ir šiupinį skanų
Su lašiniais gardžiais išvirtus girdami valgom;
Ir šulnų dešrų, lietuviškai padarytų,
Dar, kad turim tikt, nei šiaip, nei taip nenugrisom;
Ne, nenugrisom dar, bet vis daugiaus užsigeidžiam!
Kad prancūzpalaikis, riebių varlių prisiėdęs,
O lietuvninks, žirnių bei lašinių prisivalgęs,
Kaip krikščionims reik, dosningo n'atmena dievo,
Tai taip viens, kaip kits neverts, kad plutą nukąstų.

– «Слишком французов хулишь, – отозвался Сельмас, подумав, –
Знаем, повадка своя, а также свой нрав у любого.
Мы, шюпинис и борщ подзаправив салом душистым,
Сварим, на стол подадим да всё нахвалиться не можем.
И никому не приелись колбасы литовские также.
Да, не приелись, – напротив, готовь, подавай их всё больше.
Если бездельник французский лягушек жирных нажрался,
Брюхо литовец набил гороховой кашей и салом,
Да христианский обычай и господа оба забыли, –
Хлеб вкушать и тот и другой едва ли достойны!

Žalis su dvyliu, su margiu irgi su palšiu
Yna, kad nor ėst, šiaudų pamatydami kūlį;
O kad iš tikros širdies jiems primeti pluoštą,
Tuo su liežuviu jį krimst į gomurį traukia
Ir savo šiaudus vis į mus žiūrėdami braškin.
Ak kad jie lietuviškai kalbėti galėtų,
Dar už dovaną tą stalde didei dėkavotų.
Vasarą rods kita, kad pievų žydi žolelės
Ir kad kožnas daikts, lauke savo pašarą krimsdams,
Su pasimėgimu valgo ir linksmai šokinėja.
Bet kad rudenis ir žiema jau pradeda rūstaut
Ir visi daiktai, baisybių tų nusigandę,
Slepias ir pasislėpę graužia savo zopostą,
Tai jau ne miera ką skirstyt ar pasisavint,
Bet užger reik pr'imt, kaip duoda dievs padalydams.
Žinom juk ir jau daugsyk ištirdami matėm,
Kaip gyvi daiktai, kad šaltis jau pasipurtin,
Slapos ir pilvus skūpai maitindami kramto.
Varlės su žuvimis, vėžiai su savo vėžyčiais
Ir kas dar daugiaus po ledu gyvendami snaudžia
Ar kas giriose sumišai bėginėdami vargsta,
Vislab rods žiemos čėse savo pašarą randa;
Nės dosningas dievs kiekvieną žino pasotint;
Ale su pilnoms saujoms mus vis šert nežadėjo.
Taigi nereik tuojaus nusimint, kad mūsų zopostas
Ant laukų menks rodos ar pasimažina greitai.

Рыжий, и пегий бык, и соловый, и пёстрый, и чалый
Рёв поднимают в хлеву, лишь сноп соломы увидят,
Если ж от чистого сердца им кинешь охапку-другую,
Корм захватят губами, усердно его уминая,
Звучно хрустеть начнут и глядеть на тебя неотступно.
Если б они изъясняться могли на литовском наречьи,
Верно, за этот подарок большое сказали б спасибо.
Летом-то дело иное: о корме заботы не много, –
Травы, цветы на лугу, и каждое, смотришь, созданье
Ест себе вволю весь день, а поев, резвится беспечно.
Если же осень и следом зима забушуют, завоют,
Тотчас в тревоге спешат существа земные укрыться
И, укрываясь, жуют, глотают что попадётся;
Тут уж не может быть речи о большем иль меньшем, конечно, –
Все, что господь пошлёт, принимай как великое благо.
Мы-то ведь знаем, ведь нам небось не раз приходилось
Видеть, как твари живые, едва понагрянут морозы,
Прячутся кто куда и скудным питаются кормом.

Рыбы, лягушки, и раки, и всякие твари другие
Спят под корой ледяной, коротая суровую пору.
Многие твари в лес убегают, и целыми днями
Бедствуют там и блуждают, и корм насущный находят;
Всякую тварь понемногу питает бог милосердный,
Только он щедрой рукой кормить обещания не дал.
Так что в унынье впадать совсем, соседи, не нужно,
Видя, как день ото дня иссякают наши запасы.

Juk ne pirmas mets, kaip mes gyvendami vargstam,
Irgi ne pirmas sykis jau, kaip šiupinį verdam.
Daug išleidom jau skūpų pavasario čėsų,
O kiek vasarų bei visokių rudenių matėm!
Klauskit tik senuosius, jūs glūpieji bebarzdžiai,
Ir girdėkit, ką jie jums pasakys prisivargę.
Jūs, vaikai glūpi, dar svietą šį nepažįstat,
Bet nei žindyti paršukai vis šokinėjat.
Dar ir jums ateis vargingos jūsų dienelės,
Kad pamaži, lėles ir žirgus savo pametę,
Iš bėdos pelnytis ką nusitversite darbus.

Нам ведь не первый год терпеть нужду да лишенья,
Нам ведь не первый раз шюпинис варить без заправы,
Много в жизни своей проводили мы вёсен голодных,
Много мы перевидели и лет и осеней чёрных.
Вы, безбородые дурни, у старых людей расспросите,
Нужно вам крепко запомнить всё то, что они порасскажут!
Вы ещё глупые дети и жизни не видели вовсе,
Как сосунки-поросята резвитесь, горя не зная, —
Но погодите — придут и для вас лихие денёчки,
Кукол своих и лошадок оставите вы помаленьку,
Как приниматься за дело и вас нужда приневолит.

Mes, surukę diedai, mes gi, kuproti nabagai,
Mes taip jau, kaip jūs, ant ūlyčių šokinėjom
Ir taip jau, kaip jūs, savo jauną vasarą šventėm.
Ar tikėjoinės, sulaukę rudenį kumpą,
Taip ūmai nusidovyt irgi pablogt taip greitai?
Ak, kaip veikiai žmogiškos nudyla dienelės!

Мы, чьи лица в морщинах и спины сгорблены горем,
Некогда так же, как вы, по улицам дружно скакали.
Лето своё молодое мы также справляли беспечно.
Думали ль мы, что поры осенней, горькой дождёмся,
Души измучим вконец и вскорости так захиреем.
Диву даёшься, как быстро скудеет век человечий!

Kožnas viens žmogus, taip pons, kaip būrs, prasidėdams
Ir vargingai užgimdams tikt pumpurą rodo,
Ik po tam tikrai, kaip dūšiai reik, prisižindęs
Auga be rūpesčių, kasdien iš pumpuro kopdams.
Ale su viena diena žiedelis dar nesirodo,
Bet reik daug dienų, ik pumpurs jo prasilukštin
Ir savo paslėptą grožybę visą parodo.
O vei silpnas daikts vos vos žydėti pradėjo,
Štai jau ir vargai tuojaus jį pradeda stumdyt.
Žinom juk visi, kaip mums biedniems pasidarė,
Kaip mes, vaikesčiais glūpais dar būdami, žaidėm.
Ak, kur dingot, ak, jūs jaunos mūsų dienelės!
Rudenis ir žiema grožybes jūsų sudarkė,
O mums, diedams, jau vainiką žilą nupynė.
Vei, broleliai, seną vėl nulydėjom metą
Ir visokius jo vargus taip jau nulydėjom.
Ką mums naujas mets ir vėl atkopdama saulė,
Kad mus sviete dievs laikys, toliaus sudavadys,
Dar ikšiol nenumanom ir žinoti negalim.

Знаем, любой человек — то барин будь или бурас, —
В муках рождаясь на свет, возникает, как слабая почка.

Грудью кормясь материнской, час от часу он безмятежно
После, смотришь, растет и всё больше выходит из почки,
Но до цветка далеко: показаться не может он сразу.
Дней-то проходит изрядно, покуда из махонькой почки
Вся проклюнется вдруг красота, что прежде таилась.
Но не окрепло ещё существо молодое — как, смотришь,
Горести тут же его без конца донимать начинают.
Разве не помним, друзья, что бывало с нами в ту пору,
Как мы играли детьми, ещё неразумными вовсе.
Ах, наши дни золотые, куда вы навек улетели!
Осень и следом зима безжалостно вас истрепали,
Нам же, дедам, венки из седин возложили на темя,
Вот уж, соседи, опять мы старый год провожаем.
Всяческих горестей уйма отходит с ним также в забвенье.
Толком знать мы не можем того, что несёт и готовит
Вновь наступающий год и всё выше встающее солнце,
Хоть сохранит нас господь и жизни дни нам продолжит.

Ant laukai šalti, kurių mes nugarą minkštą
Vasarą rėžėm ir grūdelius bėginėdami barstėm,
Dar su ledais ir su pusnynais miegt užsikloję
Irgi nerodo, ką mums dievs dosnings pažadėjęs
Ir surokavęs yr, kaip mes dar sviete nebuvom.
Bet pamatysim, kad jau vėl su padėjimu dievo
Vasara rodysis, ir mes vėl šilumą jausim.
Čėso reik, to čėso tikt kantriai palūkėkim
Ir, ik dirvos vėl ką duos, palūkėt nepailskim.

Гляньте: холодные пашни, чью мягкую спину мы летом
Резали плугом, сохою, зерном на ходу засевали,
Под ледяною корой и сугробами нынче укрылись.
Спят — и никак не откроют, что бог всемогущий замыслил,
Что рассчитал он, когда на свет мы ещё не родились.
Нам его станет известно, как в гости, с помощью божьей,
Милое лето придёт и тепло мы снова почуем.
Этой заветной поры подождём терпеливо, соседи,
Будем ждать неустанно того, что на нивах родится.

O tu miels dieve, tu dangiškas geradėji!
Tu pirm amžių, kaip mes dar dūmot negalėjom,
Jau išmislijai, kaip kartą mes prasidėsim
Ir ko mums reikės, kad šviesą šią pamatysim.
Tu mums sąnarius ir ūmus visus dovanojai
Ir sudavadijai kiekvieną reikalą mūsų.
Tu dienas verksmų bei džiaugsmų mūsų paskyrei
Irgi nulėmei jau kožnam ilgumą dienelių.
Štai vėl čėsai senojo pasibaigusio meto
Ir visokios priespaudos su tavo pagalba
Jau nusidovijo, biedžius mus raudinę tankiai.

Господи, боже ты наш! Не ты ли, небесный зиждитель,
В час изначальный, когда и думать ещё не могли мы,
Наше рожденье замыслил и путь начертал нам грядущий.
Всё, что нам будет потребно, расчислил, как свет увидали.
Силу телесную дал нам и разум пытливый и острый,
Согласовал и желанья, и чувства, и помыслы наши,
Радости наши земные и горести мудро расчислил,
Каждому определив долготу его жизни на свете.
Вот уж старый год наконец уходит навеки,
С помощью крепкой твоей уходят также невзгоды,
Что не однажды стонать нас, нищих крестьян, заставляли.

Ak niekingi jūs džiaugsmai šiltos vasarėlės!
Jūs žolelės blizgančios su savo grožybėms!
O ir jūs paukšteliai su saldžiais alasėliais!
Ar kas dar daugiaus pas mus savo vasarą šventėt,
Jūs neprivalėt rūpintis, pas mus atsilankę,
Kaip maitinsitės ar kur šėtras savo sutversit,
Ir nei art, nei sėt, nei ką suvalyt neprivalėt;

Nės jums dievs taip dovytis ir dirbt nepaskyrė,
Bet be rūpesčių jus išlaikyt pažadėjo.
Mes griešni siratos, mes biedni nabagėliai
Rods valnybės jūsiškos pasidžiaugti negalim.
Išgi mažų dienų mus skaudžios vargina bėdos
Ir iki mirštant mūčyt mūsų dūšias nesiliauja.
Taip, kaip žinom, ir jau vėl pasibaigusį metą
Tuo po Velykų, maisto dėl, trūsinėti pradėjom
Ir daug prakaito per visą vasarą mielą
Dirbdami nuo karštų veidelių mūsų nušluostėm,
Ik zopostėliui ką susirinkom ir pakavojom.

Как же ты преходяще, весёлое летнее время,
Вы, на лугах и полянах цветы, что блестите красою,
Также, пташки, и вы со своею песнею сладкой,
Вы, что в наших краях свой летний встретили праздник!
Вам ведь о хлебе и крове заботиться не было нужды.
Вы, прилетев весной, трудов тяжёлых не знали,
Сеять, пахать, боронить, убирать — не нужно вам было.
Бремя забот неустанных влачить всемогущий вам не дал,
Вас обещал он кормить без трудов и забот повседневных.
Мы от рожденья сироты, мы все бедняки-горемыки, —
Видно, не можем, как вы, беспечно тешиться волей,
Ибо с младенческих лет приходят нас мучить невзгоды.
После всю жизнь от них избавления мы не находим.
Вот и в прошлом году: проводили мы светлую пасху,
Ради насущного хлеба немедля взялись за работу,
Без передышки всё лето старались и пота довольно
С разгоряченных лиц и лбов мы стёрли, покуда
Хлеб насущный собрали и спрятали после в сараи.

Taipgi dabar, jau rudenį su svodboms nulydėję
Ir kaimyniškai bei viežlybai pasidžiaugę,
Rūpinkimės zopostą dar pasilikusį čėdyt
Ir kad ką gardžiai pasikepsim ar išsiviršim,
Vis rytojaus ir kitų dienų paminėkim.
Nėsa dar ilgs pažygys, iki vėl vasarėlę sulauksim
Ir šviežius valgius į puodus kraudami virsim.
Nugi dabar vėl skirkimės ir su padėjimu dievo
Skubinkimės savo padarynes pamaži pasiprovyt;
Nės saulelė vėl pusnynus pradeda gandint
Ir jau vieversiai linksmai lakstydami čypsi.
Vei, vasarėlė jau pamaži prisiartina miela
Ir, kas mūsų zopostams reiks, vėl žada parūpint.

Ну, а теперь, проводив весёлыми свадьбами осень,
Повеселившись пристойно, опять же подумаем вместе,
Как сохранить припасы. Итак, соседи честные,
Варим мы что-нибудь, или печём, иль что-нибудь жарим,
Думать о завтрашнем дне и о будущих днях не забудем.
Долго ещё дожидаться, покуда лето настанет
И заклокочет в горшках похлёбка из свежих припасов.
Ну, а теперь разойдёмся и дома, с помощью божьей.
Загодя плуги да сохи осмотрим и тут же наладим.
Полднями солнышко снова растапливать стало сугробы.
Жавронок снова запел, летая весело в небе.
Близятся мало-помалу весна и милое лето.
Всяких припасов оно наготовить нам обещает.

Bet be tavęs, tu dangiškasis mūsų tėtuti,
Nieks negal mums tekt, ką miela vasara žada.
Ką mums mačys priprovos, ką mūsų trūseliai?
Ar kad, sėtuves ir naujus noragus nusipirkę,
Art išsitrauksim ir grūdelius kaip reik pasisėsim?
Vislab bus niekai, ką veiksim argi pradėsim,
Kad žegnojanti rankelė tavo negelbės.
Tu mus išlaikei per visą prašokusį metą,
Tu dar ir toliaus mus išlaikyti galėsi.
Ką mums vasara duos, mes rods numanyti negalim,

Bet tu jau žinai, kiek mums reikės, surokavęs.
Mes glūpi daiktai n'išmanom tavo davadą;
Ir tavo mislys neigi bedugniai mums pasirodo,
Kad mes kartais per giliai pasidrąsinę žiūrim.
Taigi, tėtuti, toliaus už kožną reikalą mūsų
Rūpink tėviškai, kad vėl jau vasara rasis
Ir mes vėlei ant laukų trūsinėdami vargsim.“

Но без поддержки твоей, господь, отец наш небесный,
Нам не достанутся в руки щедроты милого лета.
Что бесконечные сборы, и хлопоты все, и старанья,
Что из того, что, купив сошники и лукошки, с весною
В поле потянемся дружно и хлеб посеем как надо, —
Прахом, господь, пойдёт любое, что ни предпримем,
Ежели благословляющей нас не поддержишь рукою!
Нас ты заботой своей в минувшем году не оставил, —
Нас ты и впредь сохранишь и поддержишь силой своею.
Предугадать мы не можем, что лето с собою несёт нам,
Ты же заранее знаешь, какие назначишь заботы.
Нам, существам неразумным, трудненько постичь твой порядок,
Бездною кажется нам глубина твоих помыслов чудных,
Если в них разумом слабым пытаемся вникнуть порою!
Не забывай же и впредь о нуждах наших, всевышний,
Милостив будь и тогда, как снова лето наступит
И на полосках томиться мы станем с зари до заката».

Больш кніг-білінгв на bilinguator.com
More bilingual books on bilinguator.com
Więcej dwujęzycznych książek na bilinguator.com
Больше книг-билингв на bilinguator.com
Більше книг-білінгв на bilinguator.com

2026